

ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО № 37 СЕНТЯБРЬ 1987
«ПРАВДА», МОСКВА



О ТВОРЧЕСТВЕ
МОЛОДЫХ

ДНЕВНИК
ПОСЛЕДНЕГО
САМОДЕРЖЦА

КИНОЗВЕЗДА
ВАНЕССА РЕДГРЕЙВ



ОН-ГУЛЛИВЕР,
НО МЫ-
НЕ
ЛИЛИПУТЫ!



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ОГОНЁК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан

1 апреля

1923 года

№ 37 (3138)

12—19 СЕНТЯБРЯ

© Издательство «Правда», «Огонек», 1987.

Главный редактор — В. А. КОРОТИЧ.

Редакционная коллегия:

Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ,

Д. В. БИРЮКОВ,

Л. Н. ГУЩИН

(первый заместитель
главного редактора),

К. А. ЕЛЮТИН,

В. П. ЕНИШЕРЛОВ,

Н. А. ЗЛОБИН,

Д. К. ИВАНОВ

(ответственный
секретарь),

А. Ю. КОМАРОВ,

Ю. В. МИХАЛЬЦЕВ,

В. Д. НИКОЛАЕВ

(заместитель
главного редактора),

Ю. В. НИКУЛИН,

А. Г. ПАНЧЕНКО,

А. Б. СТУКОВ,

С. Н. ФЕДОРОВ,

Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

В парке г. Междуреченска (см. репортаж «Сага о Горной Шории»).

Фото Эдуарда Эттингера

Оформление Е. М. КАЗАКОВА
при участии Т. А. НОВРУЗОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.

Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27; отделы: Публицистики — 212-21-88; Коммунистического воспитания — 251-89-83; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-39; Писем и массовой работы — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Оформление — 212-15-77; Литературных приложений — 212-22-13.

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Сдано в набор 21.08.87. Подписано к печати 03.09.87. А 00425. Формат 70×108¹/₈. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 550 000 экз. Изд. № 2663. Заказ № 1116.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.



Константин КОСТИН
Фото
Марка ШТЕЙНБОКА.

Теперь не спрашивают: «Что дают?» Говорят так: «Вы последний? Я за вами...» И только после этого начинается выяснение: «Что на прилавке-то?»

У социологов, да и у организаторов торгового дела, бытовой службы нет точной цифры потери времени на стояние в очередях, которые встретишь всюду: в сберкассе, в магазине, на вокзале, около овощного киоска, в обувной мастерской, на почте; за квасом, наконец...

Во ВНИИ конъюнктуры и спроса знают, что половина суммарного времени, затрачиваемого на покупки, уходит на ожидание в очередях. Это самая изнурительная «работа».

— И чего стоят? Отдали бы деньги первому, он сразу на всех и купил бы,— иронизирует кто-то, проходя мимо выплеснувшегося за двери и растянувшегося по фасаду столичного Центрального универмага «хвоста»...

Есть очередь «живая», затылок в затылок, есть «списочная», а есть еще и «теневая». Когда выстоял кто-то час-второй, близко и прилавков, но этот некто готов уступить свое место другому — за мзду, разумеется.

...Когда молоденькая продавщица вещает: «Вас много, а я одна», — знайте, она уже успела усвоить, что очередь «проглотит» любое обращение, а стоящие в ней не дадут ее, продавщицу, в обиду тому, кто с претензиями, пусть и справедливыми.

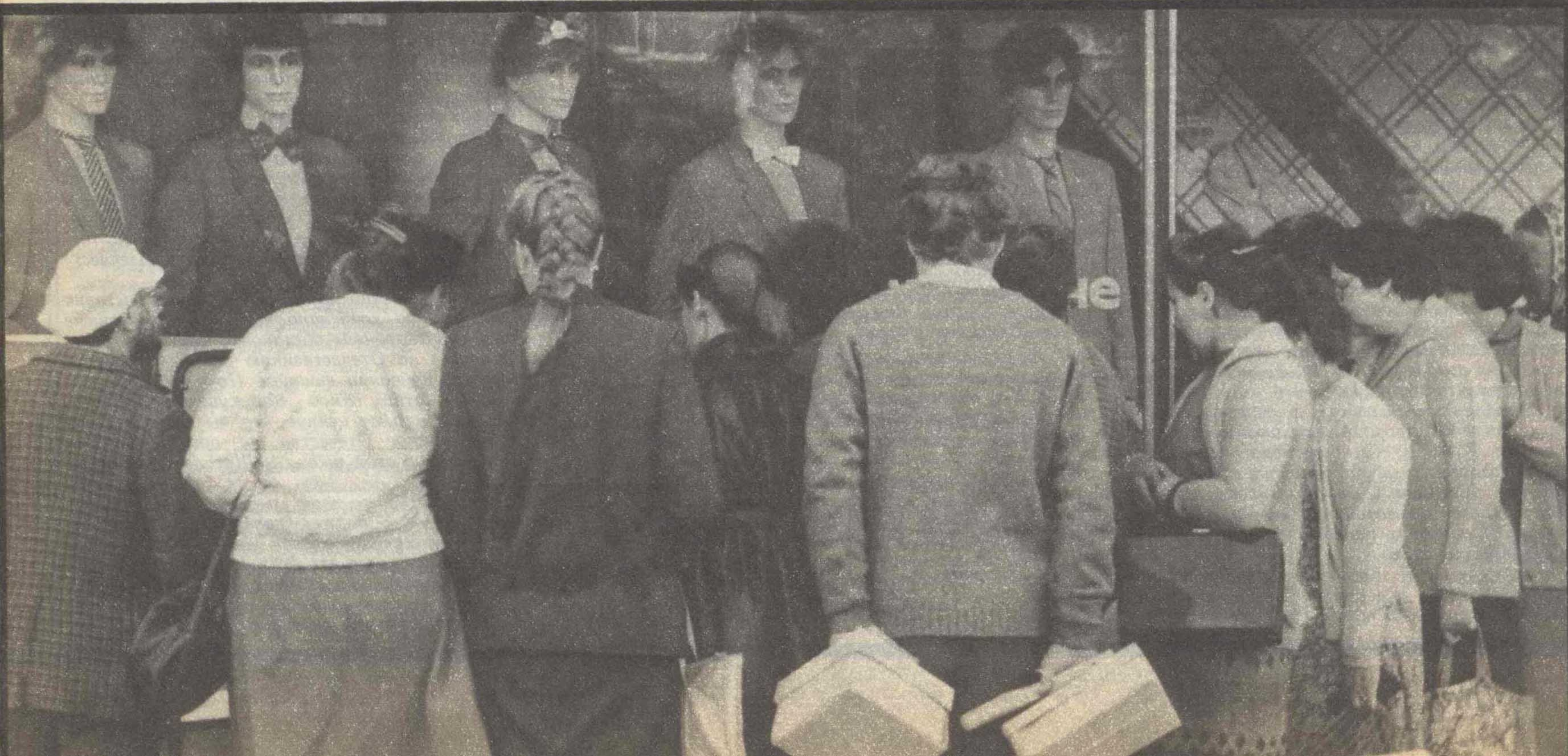
— Наше отношение к очереди должно быть однозначным: ее надо расценивать как большое социальное зло,— сказал министр торговли СССР. Не мне одному сказал, я привел строку из интервью К. З. Тереха отраслевой газете.

Специалисты утверждают: первое, что надо сделать для ликвидации очередей,— навести порядок в организации торгового дела.

Вот с этого бы и начать...



ОЧЕРЕДЬ



«ТИПИЧНЫЙ КОНФЛИКТ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Публикация материала «Типичный конфликт» (№23), в котором речь шла о судьбе музея А. Н. Скрябина, обратила внимание многих читателей. Одним из первых откликнулся председатель Советского фонда культуры академик Д. С. Лихачев:

«Странные положения бывают в музейном деле! То назначают директором музея одного из самых значительных русских исторических городов не справившегося с работой директора банно-прачечного треста, то во главе музея величайшего композитора XX века А. Н. Скрябина ставят человека, ничего не знающего о музыке!»

Посетителей нет (испуганный музыкой директор попросту закрыл «свой» музей). Даже музыканты, исполняющие произведения А. Н. Скрябина в концертных залах всего мира, и родные А. Н. Скрябина допускаются в его дом только «на общих основаниях».

Между тем музеи — это не кладовые, не просто хранилища: в нашей стране все музеи ведут огромную пропагандистскую культурную работу, приобщают массы к высокой культуре. Каждый день закрытого музея — это беда нашей культуры, это сотни неиспользованных возможностей повысить уровень музыкальных знаний.

Неужели не ясно «руководящим инстанциям», что во главе Дома-музея А. Н. Скрябина должен стать музыкально образованный и деятельный человек? Неужели не ясно, что музей А. Н. Скрябина должен работать — не только принимать посетителей, но и вести научную деятельность, собирать конференции, объединять знатоков и любителей отечественной классической музыки...

Я обращаюсь ко всем советским музыкантам, к советским руководителям работников, к нашей молодежи, наконец, — давайте оживим музей А. Н. Скрябина, вдохнем в него жизнь, спасем его, — а музыка великого Скрябина благодарно отзовется в тысячах и тысячах сердец».

По поручению Ленинградского отделения Союза композиторов РСФСР его председатель, народный артист СССР композитор А. П. Петров в своем письме поставил вопрос о необходимости передать Дом-музей А. Н. Скрябина в подчинение Центральному музею музыкальной культуры имени М. И. Глинки. Эту же мысль высказал член-корреспондент АН СССР М. С. Зверев. «Материалы,

посвященные кризисной ситуации в музее Скрябина, — пишет в редакцию писатель В. А. Каверин, — даны под заглавием: «Типичный конфликт». Оно хорошо выражает суть дела: речь идет действительно о типичных проблемах нашей культуры, о социальном зле, которое никуда не уйдет само, без борьбы». Глубокой болью проникнуто обращение видного ученого, доктора исторических наук, профессора А. Я. Гуревича: «Считаю долгом откликнуться на статью «Типичный конфликт». Дом Скрябина вошел в мою жизнь с молодых лет... Сегодня все, чем жил музей десятилетия, утрачено. Пришел новый директор, ничего не ведающий не только о музыке Скрябина, но и о музыке вообще: невежество в сочетании с чисто административным командованием людьми привели к конфликту практически со всеми сотрудниками и с людьми, окружавшими музей на протяжении многих лет. Со времени публикации в «Огоньке» прошло уже несколько месяцев, но музей закрыт, по-прежнему закрыт и когда он откроется — никому неизвестно...»

Действительно, неизвестно. Главное управление культуры Исполкома Моссовета на статью в журнале не откликнулось. В музее все осталось по-старому. Ничего не изменилось.

Зато началась расправа с его сотрудниками. Смотритель музея С. Н. Монастырская, которая уже после публикации статьи информировала редакцию, что работать в музее стало практически невозможно: «мемориальные помещения квартиры Скрябина стоят обещанные, там месяцами не проводится никакой уборки, комнаты даже не проветриваются, зал для прослушивания музыки превращен в склад», — подверглась «нажиму» со стороны нового директора и в конце концов из музея ушла. Тогда новый директор «переключился» на другого сотрудника — А. Г. Новицкого. Ему тоже пришлось несладко. Несколько дней назад А. Г. Новицкий принял решение писать заявление об уходе. Он прав: так работать нельзя...

Когда же откроется музей? И как он будет жить? Может быть, Главное управление культуры Исполкома Моссовета все-таки ответит на эти вопросы редакции?

А. ПАХОМОВА

«Огонек» в настоящее время печатает роман Лазаря Карелина «Даю уроки-2». Произведение не закончено, не берусь судить о нем обстоятельно. Возможно, роман замечательный (хотя вряд ли). Мое внимание остановили отдельные его фрагменты, по поводу которых надо бы внести ясность. Описывая просмотр порнофильма в некоем «официальном зальчике», романист делится следующими соображениями: «А кто да кто здесь? Не они ли нынче только и озабочены конструированием какой-то новой модели советского кинематографа? Не они ли призывают народ смотреть фильмы серьезные, духовные, заставляющие думать, а не развлекаться? Ну, филлистеры! Ну, притворщики!»

По роду своей работы я участвовал в некоторых встречах, проводимых Союзом кинематографистов и Госкино, где обсуждалась новая модель кинематографа, и ни на одной из этих встреч не видел Л. Карелина. С другой стороны, должен заметить со всей прямотой, что мне не случалось бывать на просмотрах порнофильмов в каких бы то ни было «зальчиках».

Видимо, мы с Л. Карелиным проводим время в разных залах, и существенно, чтобы читатели романа «Даю уроки-2» об этом знали.

И еще одна цитата, касающаяся авторов тех картин, которые клали на полку «лет порой на двадцать»: «И режиссер, получивший в свое время отказ и разгон, еще когда кудрявым был и не заикался на нервной почве, узнавал ныне, что он талантлив, ну просто талантлив и молодец, ну просто молодчина. Увы, где его бывшие кудри? И все-таки он был счастлив. Он становился знаменитым. Теперь и он сам мог что-то такое не принять, обругать, отодвинуть или задвинуть. Слава дает права на власть в кинематографе и вообще в искусстве. Власть же тем и сладка, что можно пинать ногами другого. Конечно, если несколько огрублять все и вся».

Если несколько огрублять все и вся, то следует признать, что усмехаться по адресу людей, чьи фильмы по двадцать лет пролежали на полках, нехорошо, даже, наверное, стыдно. В особенности коллеге, который сам полагает себя причастным к творчеству.

Впрочем, может быть, указанные соображения принадлежат исключительно герою романа Знаменскому, а Л. Карелин с ними решительно не согласен?

Тогда радостно.

К. ЩЕРБАКОВ

Я обращаюсь со страниц «Огонька» к вам, молодые!

Не знаю, удастся ли мне прорваться к вам со словом правды (до сих пор не удавалось!) через заслон старых стереотипов. Но если не сейчас, то рано или поздно это случится. Я твердо верю, что это должно случиться «именно в этот раз», когда появилась реальная возможность сказать эту правду и выслушать разные мнения.

Я, пятидесятилетний человек, прошел через все то, что мучает вас сейчас. Причина этого — отсутствие должного образования и знания того, что происходит и происходило (!) в жизни. Самый существенный недостаток в нашем обучении — то, что нам не дали философского и исторического образования, и, не овладев диалектическим методом анализа действительности, мы оказались невеждами. Ведь коммунистическая партийность — это претворенная в действие диалектика, которая ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна. Кому-то было выгодно наше философское невежество и замалчивание исторической правды, а сейчас пришло время, когда теоретическое наследие марксизма будет снято с полок и пущено в действие. Но это не произойдет само по себе, без ожесточенной борьбы. Долгие годы нам придется залечивать последствия нашего невежественного бездействия и возвращенного на этой благодатной почве воинствующего индивидуализма.

Я беспартийный, простой электромонтер, у меня двадцать с лишним лет производственного стажа, десять лет — спортивный тренер, никаких спецкурсов по партийной грамоте не кончал, но путем самообразования сам дошел до необходимости разобратся в сложном многообразии жизни.

На все наши беды и вопросы существуют ответы. Я знаю по себе — тяжелее всего гнетет неопределенность. Так определите же поскорее свое место в той борьбе за будущее страны социализма, которую ведут наша партия и народ. Загляните себе в душу и спросите: что я умею? Что я знаю? Что я хочу? А самое главное — не стойте перед дверью в жизнь, распахните ее и будьте деятельными.

Ю. ЛОБОВ.
Курган

В № 29 «Огонька» опубликовано интервью с педагогом Щетининым «Учить себя», которого журнал представляет как учителя-новатора. От школьной педагогики я очень далек, тем более что по нынешнему своему роду занятий имею дело с педагогическим браком — лицами, совершившими преступления. Допускаю, что в лице Щетинина любезное Отечество действительно имеет непризнанного гения. Но некоторые его утверждения вызывают вопросы.

Прежде всего мне глубоко горестно было узнать, что я, оказываясь, учился в буржуазной школе, с той лишь разницей, что вместо закона божьего мне преподавали марксистско-ленинские науки (так вроде бы изволил выразиться Щетинин). Щетинин утверждает, что именно в тридцатые годы в школе произошел этот переворот, именно тогда учеников учили в основном приспособленчеству и беспринципности.

Я не знаю, воевал ли Щетинин, но как историк по образованию, хочу напомнить, что воспитанные в столь «прискорбной» обстановке детишки выросли и пошли на Отечественную войну, героически сражались, победили фашизм. Поколения, «исковерканные» этой самой «буржуазной школой», оставили нам самое ценное, что мы имеем, — наше социалистическое Отечество, не потому ли так сильна злоба к этой школе у Щетинина и многих других?

Смею считать, что свою личность каждый нормальный человек должен развивать сам, школа тут может в лучшем случае чем-то помочь. Щетинин скорбит о том, что дети в наше время произрастают, лишенными идеалов. Возникает вопрос: откуда возьмутся эти идеалы, если в течение минувших тридцати лет мы только и делаем, что от-

рекаемся? Откуда взяться идеалам у сегодняшнего подростка, чей дед рыдал в день смерти И. В. Сталина, тремя годами спустя громким шепотом с приятелями мусолил «клубничку о культе», еще пятью годами позже аплодировал тем, кто выбросил И. В. Сталина из Мавзолея? Отец сегодняшнего подростка на собраниях и митингах рассыпался в преданности «лично Леониду Ильичу Брежневу», а сейчас на собраниях и митингах с пеной у рта обличает «застойные явления»?

Чего проще: объявить все, что было до тебя, сплошной ошибкой. Советское и партийное руководство сегодня на официальном уровне таких заявлений не делает, однако многочисленные борзописцы торопятся выслужиться... Надо сказать, что охаивание целых шестидесяти советских лет (с 1925-го по 1985-й) оказывает дурную услугу самой идее перестройки, поскольку люди попросту понимают это именно как способ самоутверждения на манер бывшего товарища Хрущева.

Выступление Щетинина в «Огоньке» считаю образцом замаскированного растления молодого читателя. Если его педагогическое «новаторство» заключается в пропаганде таких идей, то мне вполне понятно, почему люди, которым доверено руководство советской педагогикой, его не принимают. По-моему, это компетенция не педагогов, а органов государственной безопасности.

Считаю своим долгом заявить, что под видом «борьбы за перестройку» в нашей стране творится опасное антигосударственное дело, заключающееся в проповеди полнейшего нигилизма в отношении к героическому прошлому Советской страны, к истории социализма. Проводниками этой линии считаю «непризнанных гениев» вроде Щетинина и нечистоплотных лиц, овладевших средствами массовой информации. Никакого объективного делового разговора сегодня не может быть, поскольку на страницы печати допускаются только исключительно мнения сторонников разложения нашего общества. Под аккомпанемент славословий «гласности и демократии» всех, кто смеет свое суждение иметь, лишены возможности его высказать. Никакого отношения к перестройке, гласности и всем тем прекрасным вещам, о которых говорилось на XXVII съезде КПСС и последующих Пленумах, эта истерия ниспровержений не имеет. Поэтому я считаю проводников этой истерии врагами Советской власти и провокаторами, дискредитирующими идею перестройки и компрометирующими ленинскую партию.

А. БЕРЛИЗОВ,
старший лейтенант,
1953 года рождения.
Краснодар

По роду своей деятельности я далек от школьной проблемы: работаю в НИИ, доктор технических наук. Но состояние современной педагогики, особенно школьной, ни у кого не вызывает сомнения. Выправлять эту проблему все-таки придется не кому-нибудь, а Минпросу. В сложившихся условиях Минпросу, очевидно, нужен такой лидер, который не только знал бы глубоко кризис школы, но и четко представлял бы программу выхода из него. В таких случаях обычно лучше свежий человек, «варяг», а не номенклатурная личность из того же министерства или, скажем, из Академии педнаук. Не боялась же партия назначать 70 лет назад наркомов людей, владеющих только идеями, но не обладающих опытом бюрократического управления.

Предлагаю поднять вопрос о выдвижении на пост министра просвещения одного из учителей-новаторов. Это может быть кандидатура М. П. Щетинина, идеи которого — это наши идеи, на мой взгляд, они дают выход школьному образованию и воспитанию из кризиса. Человек талантлив, как говорится, может, хочет, отдает всю жизнь новой школе, и не парадокс ли, что он вынужден ездить по стране в поисках приложения своих сил? Пусть отстоит свою программу на Всесоюзном съезде учителей в борьбе с другими кандидатами, ведь ликвидировать школьный кризис, как ни в каком другом ведомстве, можно только всем миром.

П. АЛЕКСАНДРОВ
Москва

Прочитал я горькие строки жителей псковских деревень в № 29 «Огонька», возвратившись из поездки в родные места, что на Ставрополье. Был я в Петровском районе на месте, где когда-то жило и процветало небольшое, в 120 дворов, село Кугуты. Кормило оно себя хлебом и мясом, молоком и маслом, арбузами и виноградом. И не только себя. В город «шли» куры, утки, свиные туши. Но все это в прошлом.

Ума не приложу, почему наше село попало в счет «неперспективных» здесь, в двух километрах от железной дороги, на тучных, метровой толщины черноземах...

Видимо, все потому, что приходили и уходили в последние три десятилетия неперспективные председатели. Помню, жаловалась моя бабушка: «Что ни отчетный год, то нового председателя везут из района. Просим, просим, пусть останется тот, кто есть, — научим хозяйствоваться...»

И все-таки я верю, что возродятся Кугуты, начнут жить, хотя и уцелело только два здания (клуб, отданный под склад, и школа) да хата ветерана войны, моего одноклассника В. Лукинова. Поручкой тому — время перестройки, которое вторглось в судьбы «неперспективных» деревень, и многочисленные примеры возрожденных сел в Нечерноземье и на Украине.

А. ТЕРЯЕВ, геолог
Армянская ССР

Я часто гадаю у родственников в городе Жашкове Черкасской области. Район этот сельскохозяйственный, но купить в магазине картошку, помидоры, морковь, лук невозможно. Также не бывает и масла по госцене, хотя есть свой маслозавод. Но вот приехал первый секретарь Черкасского обкома партии, и на один час на прилавках появилось все. Зачем эта показуха?

М. ЛЮБАКОВ
Киев

Позволю рассуждения академика А. Аганбегяна («Огонек» № 29, 30) о социальной справедливости дополнить конкретным примером.

Я получаю пенсию 120 рублей. Видимо, в оставшиеся мне немногие годы пенсия моя ни на один рубль не увеличится. В слова академика о том, что повышение цен на мясо, масло, хлеб будет компенсировано прибавкой пенсии, я не верю, хотя бы по той простой причине, что он скромно умолчал о неуклонном наступлении цен. За несколько месяцев буханка хлеба стоимостью в 16 копеек превратилась (при ухудшении качества) в 20, а ныне и в 24 копейки. Я уже не говорю о кооперативных ценах на мясо, колбасу. Возьмите меховые изделия: шапку из ондатры я покупал за 23 рубля, сегодня ей такая цена, что и во сне не приснится.

Как же сопоставить это с цветистыми рассуждениями академика о социальном равенстве, индустрии благосостояния? Не слишком ли велик зазор между словами и делами?

И. ТОКАРЕВ
Тюмень

Сегодня бюрократия дошла до такого совершенства, что трудно найти конкретного человека, которому можно бросить в лицо: «Ты бюрократ, ты душишь дело волокитой!» Ибо на смену бюрократу-личности пришло общественное явление — Установленный Порядок, назовем для краткости просто УП. Я имею в виду не тот порядок, который помогает нам жить и работать, а именно УП.

Ученый академического института получил приглашение выступить на международной конференции. Согласно УП, он должен представить ряд документов для оформления командировки. Воспользуемся гласностью и заглянем в них.

В справке (6 машинописных экземпляров, из которых два — первых), анкете и автобиографии (по 2 рукописных) сообщается, где он учился и работал, кто его родители и дети, был ли в плену и т. д. Сообщается в пятый (или 15-й раз), если до этого он 5 (или 15) раз выезжал. Нелишне заметить, эти сведения уже имеются в отделе кадров института, а если он доктор наук, то и в президиуме Академии. Были времена, когда требовался подробный отчет, но они-то изменились, а УП остался. А вот какие пункты включены в «научно-техническое задание»: принять участие в работе конференции и сделать доклад, ознакомиться с достижениями зарубежных ученых и представить отчет, отметить в посольстве, придерживаться утвержденной программы и т. д. и т. п. Все документы, включая характеристику, каждый составляет себе сам, сам печатает и перепечатывает по несколько раз. Форма их строго лимитирована и не допускает ни малейших отклонений.

Разве не унижение убивать время и силы на приготовление кипы бумаг, а накануне поездки узнать, что ты не включен в делегацию? А если включен, то нет билетов, летишь за справкой, бежишь в кассу и там, увы, нет билетов тоже.

Почему УП так живуч? Потому что он дает власть: вам могут вернуть документы, так как вы

их принесли за 30 дней, а надо за 40, но могут и принять, хотя вы принесли за 5. Без УП многие управления, ведомства, отделы оказались бы не у дел, их ненужность стала бы явной. Люди, которые установили этот порядок, давно уже ушли со своих постов, некоторые, вероятно, и из жизни, а он, УП, став общественным злом, живет и процветает.

Э. МЕДВЕДЕВ,
47 лет, доктор физико-математических наук,
старший научный сотрудник Института
химической физики АН СССР

«ОГОНЬКУ» ОТВЕЧАЮТ

В полученном редакцией из Министерства торговли СССР письме сообщается, что здесь «рассмотрена статья «Обещали и не сделали» («Огонек» № 11, 1987); автором «правильно ставится вопрос о затянувшемся открытии в Москве магазина «Оргтехника» по продаже товаров, необходимых для деятельности журналистов и других граждан, занятых творческим трудом. Главторгу Мосгорисполкома поручено ускорить открытие указанного магазина. Заместитель начальника управления организации торговли Минторга СССР М. Степанов».

К этому деловому и конкретному письму нужен комментарий. Магазин «Оргтехника» задуман давно. А надобность в нем возникла и того ранее. Ведь в стране нет ни одного современного прилавка с товарами для тех, чье рабочее место — письменный стол; а это многие тысячи людей; не только и не столько журналисты. Надобность в оргтехнике остра и значительна. К тому же со дня, когда Минторг СССР дал первое указание о создании крупного, первого в стране универсама оргтехники, прошло много лет — было время и на обычную для торговли нерасторопность и на дело. Давно можно было подобрать необходимое помещение — их немало пустует в городе. А другие используются неразумно, и это не должно бы остаться незамеченным в Главторге.

Магазин, в котором будет весь «инструментарий» пишущего, от «копирки» и надежного делового пера до хорошей «портативки» и редакторского компьютера, нужен! Сомнений на этот счет впрямую никто и не высказывает. И Главторг на словах поддержал создание такого магазина, выдал ворох обещаний, но ими и пытается ограничиться, и волокитит осуществление намеченного. А это никак не вписывается в нынешнее предствление о деловитости.

...Как-то в редакцию позвонили из отдела организации торговли Главторга Москвы. «В Москве уже есть магазин «Оргтехника», — искренне посоветовала на нашу неосведомленность сотрудница отдела.

Но, во-первых, это не магазин, а магазинчик. Во-вторых — и это главное! — нынешняя «Оргтехника» есть лишь попытка затемнить вопрос. А суть такова. Когда в Главторге поняли, что обещание придется выполнять, предложили Москультторгу «отреагировать». Те сняли с обычного канцелярского «Школьника» вывеску и на ее место прикрепили новую — «Оргтехника». Не хотелось бы думать, что такой способ характеризует стиль перестройки столичной торговли, но ведь можно предположить, что это именно так...

Маневр был разгадан и Минторгом СССР. Редакция располагает копией письма, ушедшего из Минторга в Главторг; приведем его полностью: «Управление организации торговли Министерства торговли СССР просит рассмотреть статью «Обещали и не сделали», опубликованную в журнале «Огонек». Вместе с тем переспециализированный, по вашему сообщению (подчеркнуто нами. — Ред.), для торговли средствами оргтехники магазин № 48 Москультторга является по ассортименту магазином по продаже канцелярских товаров, торговая площадь которого не позволяет обеспечить в нем организацию продажи имеющегося сегодня ассортимента оргтехники. Просьба ускорить решение вопроса открытия магазина «Оргтехника» и дать ответ Минторгу СССР и редакции журнала «Огонек».

Если с этим ответом редакции Главторг не поступит так же, как с самим магазином, мы познанием с ним читателей.



АВАНТЮРА

ЕЩЕ РАЗ ВСПОМНИМ ТЕ ЛЕТНИЕ ДНИ.

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ.

СТОЯЛА ЧУДЕСНАЯ ПОГОДА.

ЛЮДИ ВОЗВРАЩАЛИСЬ С РАБОТЫ.

ВХОД ПЕРЕД ПАРКОМ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

ИМЕНИ ГОРЬКОГО ЗЕЛЕНЕЛ

ОТ ФУРАЖЕК ПОГРАНИЧНИКОВ,

КОТОРЫЕ ПО СТАРОЙ ТРАДИЦИИ СОБИРАЮТСЯ ЗДЕСЬ

НА СВОЙ АРМЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК;

ЛОТОЧНИКИ ТОРГОВАЛИ РАННЕЙ КЛУБНИКОЙ;

ЦВЕЛА СИРЕНЬ. И ВДРУГ СООБЩЕНИЕ:

СПОРТИВНЫЙ САМОЛЕТ «СЕСНА», ПИЛОТИРУЕМЫЙ

ГРАЖДАНИНОМ ФРГ М. РУСТОМ,

НАРУШИЛ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ПРОИЗВЕЛ ПОСАДКУ В САМОМ СЕРДЦЕ МОСКВЫ —

ВБЛИЗИ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ...

органами управления воздушных движений СССР и без обязательного для разовых полетов иностранных судов над территорией СССР советского штурмана.

Кроме этого, при влете в нашу страну в районе эстонского города Кохтла-Ярве «Сессна» опасно пересекла несколько международных воздушных трасс.

«Примерно в четверть седьмого московского времени я увидел первые жилые кварталы Москвы. Я продолжил свой полет в направлении центра города, и ориентиром мне служила телевизионная башня. Я не был уверен, что найду цель своего полета — Красную площадь, потому что Кремль я знал только по фотографиям. Поэтому я сделал несколько

стоял, в движении за мир не участвовал, да и вообще он был очень далек от политики.

Так что же двигало им, когда он закупал навигационные карты Советского Союза, запускал мотор «Сесны» и направил ее на Красную площадь?

Для этого обратимся к прошлому.

11 января 1968 года у супружеской четы Рустов — дипломированного инженера и домохозяйки — родился сын Матиас. Это был самый обычный немецкий мальчик: любил листать комиксы и смотреть мультфильмы, рисовать и ухаживать за аквариумными рыбками. Однако уже тогда Моника Руст заприметила в Матиасе какую-то отчужденность. Она прямо так и скажет на процессе: «Матиас играл с детьми, и чувствовалось, что он в этих играх несчастен».

Отчужденность осталась в Матиасе надолго. В своих знакомствах он был чрезвычайно разборчив и неохотно шел на контакт. Пока учился в школе, дружил с двумя мальчиками, да и то в выпускном классе разругался с ними окончательно. К девятнадцати годам он пришел без друзей, без девушки, к которой мог бы испытывать хоть какие-то чувства. В свои девятнадцать лет он был уже одинок.

А голова пухла от всевозможных идей. В десять лет он создает в своем воображении мифическую страну Лагонию. Чуть позже — видимо, под грузом гимназических неудач — разрабатывает для лагонийцев проект школьной реформы, и конечно же — тогда еще подсознательно, — он видел себя патриархом Лагонии. Могу ошибиться, но именно в придуманном патриаршестве видятся мне корни рустова тщеславия, его желания прославиться любым путем, а в конечном итоге — пуститься на свою последнюю авантюру.

В первый день судебного разбирательства председательствующий Р. Тихомирнов спросил Руста:

— Ну, а вы-то сами как относитесь к своей популярности?

— Эта популярность, — ответил Руст, — является предпосылкой, чтобы и в дальнейшем в моей стране оказывать какое-то влияние, и речь идет не о моей личности, речь идет о мотивах, которыми я руководствовался, и что эти цели могут быть достигнуты, только когда ты являешься известным человеком.

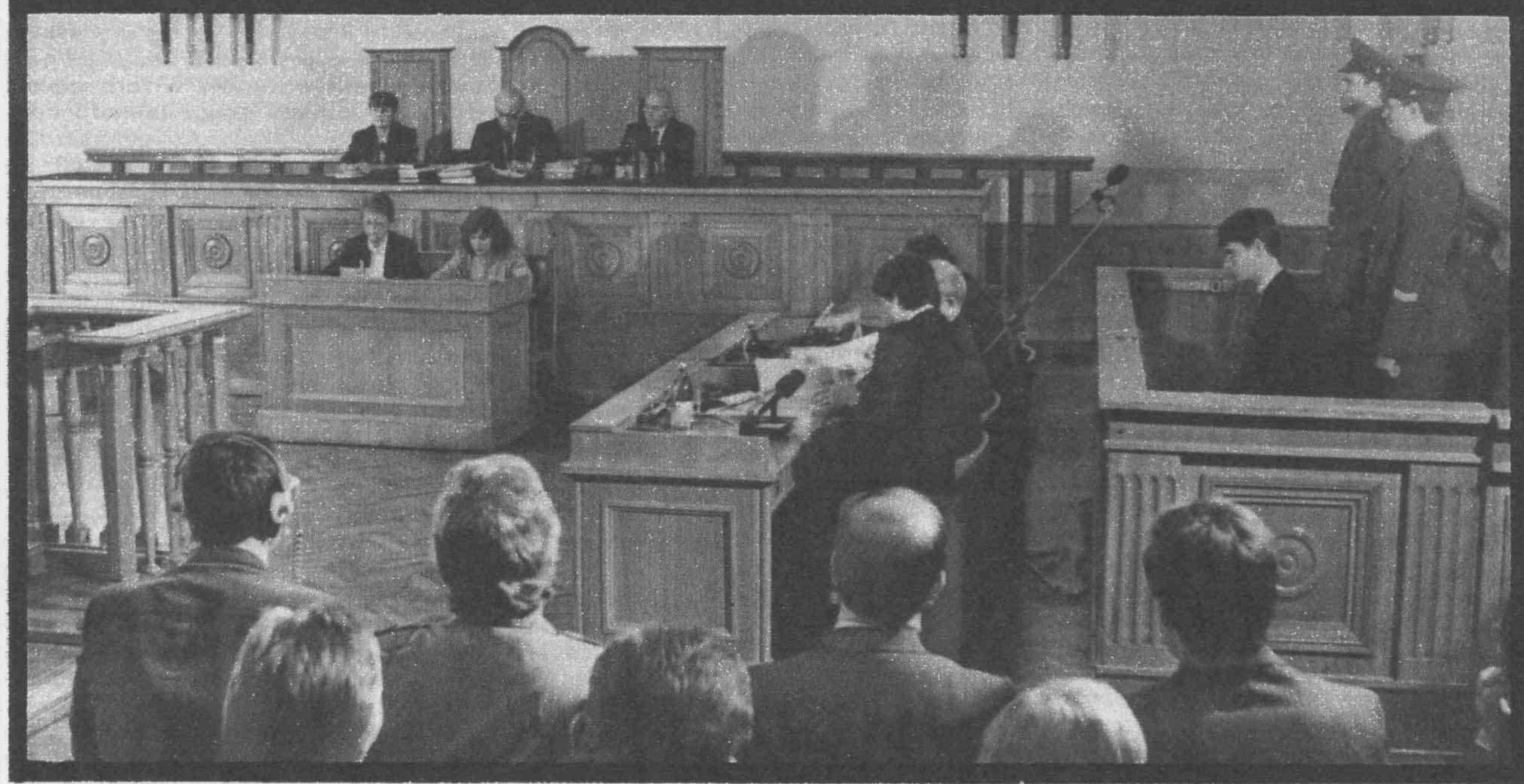
Стать известным, прогреметь на весь белый свет — вот чего так добивался Матиас Руст. Он говорил об этом на предварительном следствии: «Я подумал, что если приземлюсь в Кремле, то никто этого не увидит, не оценит и никто об этом не станет сообщать. Посадку же на Красной площади или вблизи ее скрыть трудно». Он повторил это на суде: «Мне необходим был резонанс общественности, а легальный полет такого бы эффекта не произвел».

Тщеславие Руста — и в прямом, и в переносном смысле — не знает границ. Из-за него он нарушил 53 положения о международном воздушном сообщении, подверг опасности жизни сотни наших людей, осложнил — и это при его «стремлении к миру» — и без того непростую международную ситуацию. Можно ли оправдать такое вот тщеславие?!

Да, он совсем еще юн. Он искренне раскаялся в содеянном. Эти обстоятельства тоже были приняты к сведению судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда СССР.

Гражданин ФРГ Матиас Руст приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима. Четыре года — это 1461 день. Такова плата за шестичасовую авантюру.

Дмитрий ДИМОВ,
спец. корр. «Огонька»
Фото автора



Уже 30 мая состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором «за халатность и неорганизованность в пресечении указанного нарушения, отсутствие должного контроля за действиями Войск ПВО Политбюро признало необходимым освободить от должности главнокомандующего Войсками противовоздушной обороны т. Колдунова А. И.». В тот же день Президиум Верховного Совета СССР освободил Маршала Советского Союза Соколова С. Л. от обязанностей министра обороны СССР.

Но кто же он такой, этот Руст? Почему пересек границу? Чего он, собственно, хотел?

Люди специально ходили на Красную площадь, прикидывали, как мог проскочить самолет под проводами, гадали насчет того, как он пересек государственную границу, спорили, удивлялись, негодовали. Наверное, не было в те дни ни одного дома, учреждения, школы, поезда или кафе, где бы ни говорили о дерзком полете западногерманского летчика.

Так кто же он наконец, Руст, — профессиональный разведчик? Игрушка в чьих-то руках? Авантюрист? Только суд мог внести окончательную ясность в «Деле Матиаса Руста».

Десять часов утра 2 сентября. Именно в это время мы впервые увидели Руста. В сопровождении двух конвоиров он вышел к скамье подсудимых. Сел. Не знаю, кто как, а я представлял его совсем другим: крепким, мускулистым. Но нет. Перед нами сидел худенький, аккуратно причесанный мальчик, в темно-синем, с

золочеными пуговичками пиджаке. На переносице — опять же золоченые очки. Опрятен, чист — словно его привезли сюда из Гарвардского университета. Держится спокойно, не нервничает, лишь время от времени оборачивается лицом к Монике Руст — своей матери и ободряюще подмигивает. Он пунктуален до мелочей: каждый раз, прежде чем подняться со своего места, застегивает пуговички на своем темно-синем пиджаке. А когда садится — вновь расстегивает... Говорит четко, без запиночки, и чувствуется — он в себе уверен. Послушаем же и мы его. Слово предоставляется подсудимому Русту Матиасу.

«В 12.21 я вылетел из Хельсинки. После старта я вылетел из контрольной зоны в восточном направлении, затем выключил радиостанцию. Мне пришлось пережить определенную внутреннюю борьбу, поскольку я понимал, что с этого момента мой полет уже не является законным. У меня были большие сомнения на счет того, можно ли мне в качестве частного пилота спокойно влететь на территорию чужого государства, не будучи перехваченным, тем более влететь на территорию Москвы. Я сам считал такую возможность весьма сомнительной, но тем не менее я принял такое решение».

Как следует из донесения штаба Войск ПВО и других документов, вторгшись в воздушное пространство Советского Союза, Руст, придерживаясь прежнего курса 117°, продолжил полет на высоте 300—700 метров без двусторонней радиосвязи с

ко кругов над Москвой и в конце концов, увидев гостиницу, которая была нанесена на план города, я опознал, где находится Красная площадь. Над Москвой я летел на высоте примерно в 1000—1500 футов, то есть 300—400 метров. После того, как я увидел Кремль и Красную площадь, я сделал над ними несколько кругов, и тут мне стало ясно, что на Красной площади, вопреки моим ожиданиям, большое движение. Тем не менее я два раза пытался приземлиться непосредственно на Красной площади, сделал два захода на малой высоте — примерно 10—20 метров, надеясь, что люди, находящиеся на Красной площади, освободят мне место для посадки. Но так как они этого не сделали и я не знал, существуют ли там определенные пешеходные зоны, я решил приземлиться на Москворецком мосту. А опасность для людей, которые находились на пути моего самолета, я в то время так ясно не осознавал».

Во время судебных заседаний Руст не раз повторял: «Я летел в Москву с миссией «мира», я вез мирные предложения, мои мирные инициативы». Что и говорить: могло создаться впечатление, будто на скамье подсудимых сидит не нарушитель воздушного пространства, не злостный хулиган, а борец за мир и свободу народов. Однако это была версия Руста, зная о наших чувствах по отношению к миру, он на них просто играл. Правда, в ходе судебного разбирательства версия западногерманского пилота рассыпалась в прах. Нет, ни в каких политических организациях Руст не со-

**ИНТЕРВЬЮ
ПОСЛА США
В СССР
ЖУРНАЛУ
«ОГОНЕК»**



Джек Ф. Мэтлок — Чрезвычайный и Полномочный Посол США в СССР с апреля 1987 года. Родился в 1929 году в штате Северная Каролина. После окончания Колумбийского университета преподавал русский язык и литературу в колледже. В 1956 году поступил на дипломатическую службу. Более семи лет, занимая различные должности, проработал в посольстве США в Москве. В 1981 году президент Рейган назначает его послом в Чехословакию. В 1983 году Мэтлок возвратился в Вашингтон, чтобы исполнять обязанности специального помощника президента США в аппарате совета национальной безопасности. Джек Ф. Мэтлок женат, имеет пятерых детей.

«ПРОБЛЕМА—ДЕФИЦИТ ДОВЕРИЯ»

— Расскажите, пожалуйста, почему вы стали профессионально заниматься Советским Союзом? Что именно повлияло на ваш выбор?

— Во время второй мировой войны, когда я был еще учеником в средней школе, я заинтересовался Советским Союзом. Меня также интересовали иностранные языки, хотя я жил в районе, где практически никто не говорил на иностранных языках. Даже взял учебник русского языка из городской библиотеки и старался кое-чему сам себя научить. Но до тех пор я никогда в жизни не слышал русской речи и не мог себе представить, как произносятся слова.

Решающее влияние на мой выбор, однако, оказала русская литература. Когда я был студентом первого курса, читал в переводе «Преступление и наказание» Достоевского. Для меня это было откровением, и я стал читать все, что мог отыскать по русской литературе, а также по истории Советского Союза и России. Можно сказать, что я был поглощен занятием русской литературой и историей. В 1948 году стали впервые обучать русскому языку в моем университете, и я был в первой группе обучающихся. К тому времени как я окончил Университет имени Дьюка (штат Северная Каролина), мне показалось, что уже потребовалось у нас больше специалистов по Советскому Союзу, и ввиду того, что русская культура меня так интересовала, я решил поступить в аспирантуру при Русском институте Колумбийского университета.

— И так, на ваш выбор повлияла русская литература. Но сегодня вы профессиональный политик. И как каждый человек, занимающийся политикой, вы, наверное, хотите заниматься серьезной политикой. На ваших глазах, на глазах вашего поколения между нашими странами были и конфликты, и периоды сближения. Как в целом вы оцениваете развитие отношений между СССР и США после второй мировой войны?

— Некоторую динамику в них наблюдать можно. Конечно, в отношениях между нашими странами были и подъемы, и спады, были периоды как потепления, так и охлаждения, были временами и конфронтации. Но мне кажется, что мы никогда не подвергались реальному риску войны. В самом деле, в ядерный век война была бы катастрофой, и, как мне кажется, мы не живем под реальной угрозой войны, но стоим перед выбором между взаимоотношениями, которые содержат элементы сотрудничества либо прямой конфронтации. Конечно, мы предпочитаем первое. Но самое главное, и я в этом убежден, что отношения наши будут мирными, даже если возникнут какие-то сложности.

— Какова ваша личная роль в формировании политики?

— Когда я был помощником президента, я часто давал свою собственную оценку событиям и свой совет насчет политики. Сейчас, находясь в вашей стране, я обязан не только объяснять здесь американскую политику, но и передавать своему правительству, что именно происходит в вашей стране, какие у вас намерения. Я стараюсь очень откровенно объяснять мнение американцев и американскую политику, а в то же время стараюсь объяснять американцам, как воспринимают наши действия в Советском Союзе. Не следует скрывать, конечно, что различия есть, что есть разно-

гласия между нами. Ведь они действительно существуют, даже в основе наших философий, в основе наших политических систем. Но тем не менее мне кажется, что различия иногда усугубляются целым рядом недоразумений. Нам следует понять, какие проблемы у нас подлинные, с тем чтобы поработать над этими проблемами, чтобы найти мирные способы общения друг с другом. А если существуют недоразумения, то надо объяснить открыто и откровенно, в чем дело. Я всегда стараюсь делать именно так.

— Есть ли у вас ощущение, что вы лично что-то сделали? Конечно же, это вопрос не для скромного человека. Но все же что вы себе лично можете поставить в заслугу?

— Если вы спрашиваете о том, что я сделал в качестве посла, то это, мне кажется, несколько преждевременно. Я ведь посол в Советском Союзе всего лишь пять месяцев. И вообще мне кажется, что оценка роли того или другого деятеля в определенный период — это задача будущих поколений историков, после того когда все относящиеся к делу документы будут опубликованы. Но если мне удастся объяснить американскую точку зрения так, чтобы граждане СССР ее лучше понимали, если мне удастся уловить более точное понимание советских позиций — я имею в виду не только то, что сказано официально, но и истоки этой политики, — а затем объяснить это моему правительству, то я считал бы это для себя большим достижением.

— Как вы думаете, что-то меняется в наших отношениях? И как, по-вашему, мы идем к лучшим или худшим временам?

— Хочется верить, что мы идем к лучшим временам. Но это, конечно, не значит, что не будет трудностей. Ведь расхождения между нашими странами в некоторых областях весьма существенны.

— А как вам кажется, то, что происходит в нашей стране, гласность, перестройка, влияют ли они на отношения между СССР и США?

— Бесспорно, влияют. Особенно политика гласности. Одна из основных проблем в наших взаимоотношениях — дефицит доверия. Это отметили оба наших руководителя, как в Женеве, так и в Рейкьявике. Возникает вопрос, как создать основу доверия. Мне кажется, что без гласности, то есть без открытого общения друг с другом, невозможно будет создать основу, столь необходимую нам для улучшения взаимоотношений. Что касается перестройки в целом, надо сказать, что это ваше внутреннее дело, но все же перестройка может влиять на наши отношения. Я хотел отметить только одно: любая политика, которая помогает создать лучшую жизнь в одной стране, служит интересам всех стран.

— В США скоро состоятся президентские выборы. Вы представляете свою администрацию. Такой партийности, как в Советском Союзе, у вас нет, но, допустим, неизвестный кандидат от демократической партии станет президентом. Как это отразится на положении посла, который был назначен республиканской администрацией?

— Это может, конечно, отразиться. Дело в том, что все наши послы служат на основе полного доверия президента. Я профессиональный дип-

ломат. Работал в Белом доме, был помощником президента, что для профессионального дипломата редкость. Именно поэтому, мне кажется, я смог бы наилучшим образом представлять президента, так как я хорошо понимаю его мысли, намерения и надежды. В 1989 году будет новый президент, и он, конечно, будет иметь право назначить другого посла, если захочет.

— Вы часто выражаете мысли президента просто из-за должности, вы должны это делать. Но вот сейчас вы выражаете свои мысли или президента?

— Сейчас я выражаю свои собственные мысли, но мне кажется, что президент не спорил бы со мной. На официальных переговорах я, конечно, выражаю взгляды правительства, но в таких беседах, как настоящая, я говорю как частное лицо.

— Вы много лет занимались вопросами культуры. Есть ли какой-нибудь прогресс в развитии культурного обмена между нашими странами в последнее время?

— Да, контакты в этой области расширяются, и это очень отрадно. Культурные связи не только украшают жизнь наших людей, они помогают нам лучше понимать друг друга и строить основу доверия. В каждой из наших стран существуют подлинные и великие культурные ценности. Важно, чтобы наши люди лучше их знали и понимали. Более того, общение людей всех профессий очень важно. Мероприятия такого типа, как встреча общественности в Юрмале прошлого года и недавняя встреча в Чатокуа, США, предоставляют широкой публике возможность обсуждать спорные вопросы и также знакомиться с искусством другой страны. Я бы хотел, чтобы такие встречи стали ежегодной традицией. Что касается писателей, можно также найти новые формы общения. Слышал, например, что планируется сейчас встреча писателей при журнале «Огонек» и при нашем журнале «Харперз мэгэзин». Это будет, по моему, положительное явление.

— К сожалению, есть люди, которые выступают против улучшения отношений между нашими странами. У вас нет такого ощущения?

— По-моему, мало тех, кто не хотел бы улучшения отношений. Конечно, существуют разные подходы; по-разному оценивается та или иная программа, но мне кажется, что в основном никто у нас не ищет конфронтации. Конечно, если мы наблюдаем явления, угрожающие нам или нашим союзникам, конфронтация станет неизбежной. Но никто не хочет конфронтации ради самой конфронтации.

Это не значит, что у всех единая точка зрения на то, как сохранить мир, как создать лучшее взаимопонимание. Существуют по этому поводу разные мысли, разные точки зрения. Мне кажется, что самое главное — это понимать, что каждая проблема нуждается в своем решении и что решение предполагает откровенное обсуждение и учет всех точек зрения, не скрывая трудностей. Если мы их скрываем, скрываем наши подлинные мысли, нам не удастся создать основу дове-

См. стр. 31.

Фото
Сергея ОСЬМАЧКИНА

НЕДАВНО У ДЕТЕЙ ПОЯВИЛСЯ СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ
В ГОСБАНКЕ СССР № 707, ФОНД ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА.
РАЗЛИЧНЫЕ ФОНДЫ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОЗНИКАЮТ
С ПУГАЮЩЕЙ БЫСТРОТОЙ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ ОЗНАЧАЮТ
БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КАКОЙ-ТО СФЕРЕ НАШЕЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В КАКОМ-ТО РЕГИОНЕ.
ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ФОНД, СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
В ПОЛЬЗУ
ГРУЗИИ, ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ ЯРОСТИ СТИХИИ,
ФОНД КУЛЬТУРЫ, ФОНД ПОМОЩИ ЗООПАРКАМ...
ПРЕДЫДУЩИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА
СРЕДСТВ
ПОНИМАЛИСЬ И ПРИНИМАЛИСЬ ВСЕМИ ОДНОЗНАЧНО

Тамара АФАНАСЬЕВА

Последнее, на удивление, вызвало разнотолки. Честно говоря, и автора этих строк раздражают противоречивые чувства. С одной стороны — помощь детям, нуждающимся и многодетным семьям, сиротам, воспитанникам детских домов — какие могут быть сомнения, конечно, нужно помогать всем миром, от души, и не только деньгами — всяческим участием, делами. А с другой — растерянность: что же это означает? И дети — в беде? Разве их у нас избыток, что общество не в состоянии обеспечить их всем необходимым из государственных закромов? Да нет. Демографы бьют тревогу: рождаемость опустилась в таких крупнейших республиках, как РСФСР, Украина, Белоруссия, до критически опасной отметки.

Растущее число «отказных» детей, сирот, отобранных у нерадивых пап и мам, множество врожденных инвалидов — все эти бьющие в глаза, ранящие сердце картины свидетельствуют о глубоком нездоровье основной ячейки общества — семьи. О ненормальности ее положения среди других социальных институтов.

Вот данные, опубликованные недавно в «Учительской газете», в интервью замминистра просвещения СССР А. Коробейникова. В стране более 15 миллионов неполных семей (матерей-одиночек, разведенных, вдов с детьми). По стране в среднем 50 процентов однодетных семей (в РСФСР — 58 процентов). Известно: каждая третья беременность завершается абортom. Среди рожениц и подвергшихся аборту стремительно растет число девушек до 16 лет. Какие нужны еще доказательства тяжелого кризиса, переживаемого семьей?

Социологи связывают с семейным неблагополучием такие опасные для общества явления, как алкоголизм (он и причина, и результат домашних неурядиц), наркомания, проституция. В итоге всего этого — несчастные дети. А они, набираясь лет и опыта, сами плодят поколение, несущее в себе гены несчастья.

Так чем же в первую очередь будет заниматься новая общественная организация: причиной или следствием?

Судя по программному выступлению председателя оргкомитета детского фонда писателя А. Лиханова, главное внимание — семье.

Правда, заявление председателя оргкомитета — одно, а живая практика — другое. Уже по первым мерам можно понять: в деятельности фонда семье отводится третьезначная роль. И в правительственном постановлении о ней сказано мимоходом, и в

проекте устава фонда помощь ей — в конце перечня статей расходов.

Коли все так и утвердится в сознании общественности, в документах фонда, снова «под видом социального преимущества может быть нанесен социальный удар по семье». (Здесь я использую выражение А. Лиханова, адресованное прошлым государственным акциям.) Ведь и нынешнее плачевное положение семьи и детства не со злым умыслом творилось.

Несколько поколений уже выросли с убежденностью: семья — это тяжелая домашняя каторга, от которой прежде всего нужно освободить женщину, поскольку она более всего ей привержена. Семья — унылый быт, мещанское болото, последний очаг частнособственнических устремлений. Авторитетные ученые, вроде академика С. Струмилина, утверждали: государство, окрепнув, возьмет на себя все заботы о подрастающем поколении «от люльки до университета», поскольку семья — плохой воспитатель. Ее честили кому не лень: философы, экономисты, производственники, писатели, кинодеятели.

К тому же на долгое время человек с его естественными потребностями, интересами, радостями и печалью вместо ЦЕЛИ общественного развития стал СРЕДСТВОМ, а материальное производство из средства поддержания и совершенствования жизни и человека превратилось в самоцель. Система жизненных ценностей представляла пирамиду, перевернутую основанием вверх. Оттого и выработалось отношение к личным нуждам, к запросам семьи, как к тратам общества, а не его приобретениям. Оттого утвердился «остаточный принцип» распределения национального дохода, при котором на удовлетворение жизненных потребностей доставались малые толики от строительства, промышленности, сельского хозяйства, обороны, науки. А детям — остатки остатков (они же «иждивенцы-потребленцы», товар не творят).

Хотя, даже с чисто меркантильной точки зрения, экономия на детях, на семье — непоправимая роскошь для страны с недостаточным населением. Известно: к 35 годам нормальный человек, не инвалид и не преступник, полностью расплачивается с обществом за все прошлые и грядущие — до могилки — расходы. И с этой черты начинает вкладывать в общую копилку, под будущее благополучие. Так что нынешний поворот экономики лицом к человеку — не столько дань гуманистическим стремлениям, сколько приведение ее к НОРМЕ, к пониманию, что хорошая многодетная семья множит общественную мощь, а не истощает ее, как все еще считают иные распределители благ, духовная и профессиональная слепота которых довела до позорного положения службу охраны материнства и младенчества. И это — при самом большом числе врачей «на

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

ПРОШУ СЛОВА!

душу населения». Выходит, и в здравоохранении у нас детская душа почиталась второзначной, если на нее ни рук, ни средств не хватало. И опять же, не будь пирамида ценностей перевернутой вверх ногами, можно было «вычислить»: чем больше вложил в здоровье народа, тем меньше заболеваний у взрослых людей. Но ведь для этого нужно мыслить иными категориями, нежели чиновники-временщики.

Вспоминаю, десять лет назад после публикации ряда статей в «Неделе», где я попыталась беспристрастно осмыслить непреходящую роль матери и отца в воспитании ребенка, возродить их сознание и чувство незаменимости для детей и друг друга, меня пригласили на заседание в Комитет советских женщин. Сказали: будет обсуждение этих статей с участием специалистов и прессы. Для публициста, пишущего на темы человеческих отношений, такое внимание редко и лестно. Но что я услышала? Оказывается: позиция моя идет вразрез с марксистско-ленинской концепцией семьи, что я — противница женской эмансипации, что я хочу привязать освободившуюся женщину к пеленкам и кастрюлям. Ярлыки клеились весьма серьезные.

Слушала я эти обвинения и диву давалась. Складывалось впечатление, что, призывая женщин любить своих близких, рожать и воспитывать детей, я подрываю «кустои общества». И говорили это доктора и кандидаты наук, облеченные властью и увенчанные званиями и наградами... женщины! В стенах самой женской из организаций! Так искренне и яростно было их негодование, что я решила: попала я в круг бесполой функциональности, казенных людей. С ними о чувствах, о жизни и природе разговаривать бесполезно. И ответила языком цитат, цифр, решений и постановлений. (Благо эту школу мы все проходили.)

Напомнила, что у Ф. Энгельса суть человеческой истории составляют труд и семья. Если бы начетчики вдумались в эту формулу, они бы поняли, что главенствующее место в ней принадлежит «производству человека». Именно потому в переписке с рьяными феменистками он подчеркивал, что здоровье нации для него важнее формальной эмансипации. А в «Положении рабочего класса в Англии» предостерегал: если у работающей женщины не хватит времени на уход и воспитание ребенка, из него никогда не вырастет добрый семьянин. Только времени! Не говоря уж о желании, умении, материальных возможностях. Он же считал обязательным условием запрещение тяжелых, вредных для физического и нравственного здоровья женщин работ и профессий. А что сделал поч-

тенный Комитет для сохранения здоровья женщин и потомства? Никакие регалии и звезды не дадут полноты человеческого счастья, если за производственные достижения заплачено ценой бесплодия (тут я сослалась на мрачную статистику гинекологических заболеваний среди работниц далеко не самых вредных производств) или ценой полусиротства их детей.

Естественно, припомнила споры В. И. Ленина со сторонниками «свободной любви» и бессемейной жизни, и слова о «мещанской парочке», себялюбиво отказывающейся иметь детей.

Спасибо, выслушали и «оргвыводы» не сделали.

Споры эти чаще всего были бесполезны, потому что стороны оперировали им доступной (очень скудной и часто неточной) информацией. Наука о семье страдала «ползучим эмпиризмом», как бездомный пес стригущим лишаем. Редакция «Недели», глубже других печатных органов и более системно занимавшаяся этой проблематикой (благодаря личному интересу тогдашнего главного редактора В. Архангельского), выработала ряд предложений о создании в стране Службы семьи и соответствующего научного института и вышла с ними в решающие инстанции. Но, как, видимо, тогда до дела руки не дошли. И вот теперь будет создан институт детства двойного подчинения: фонду и Академии педнаук, у которой, между прочим, уже есть институты: дошкольного воспитания, общих проблем воспитания, содержания и методов обучения, общей педагогики, трудового обучения и профориентации и т. д. И все они занимаются детьми. Успехи — общеизвестны. У автора этих строк есть реальные основания предполагать, что новый институт пробел в научных знаниях о семье вряд ли восполнит, да и свою задачу весьма осложнит: нельзя изучать детство отдельно от родительства, это, по-сальериевски, как труп разять музыку.

На мой взгляд, все эти проблемы следовало бы изучать комплексно, системно, объединенными усилиями философов, социологов, психологов, физиологов и педиатров, сексологов, демографов, педагогов, юристов. Научное учреждение такого широкого и сложного профиля естественней видеть под эгидой Академии наук СССР. К сожалению, и она до последнего времени проявляла устойчивую индифферентность к гуманитарным проблемам. Сколько раз печатно, общественность призывали академию создать институт Человека, институт Семьи — никакого отклика! Даже до объяснения — почему отказываются? — корифеи науки не снисходили. Но зато академия, как и Минпрос, и Минздрав, и Академия педнаук, и Комитет советских женщин, поименована торжественно среди учредителей нового фонда. Что это — запоздалое прозрение или просто формальная

акция? «Свадьба» из одних генералов? Хотелось бы надеяться на лучшее. Ведь в руках названных и не упомянутых здесь учреждений и организаций, причисленных к фонду, судьбы не только сирот — 72 миллионов семей. И столько ошибок за плечами каждого из будущих «опекунов» и «патронесс», столько долгов, что поневоле закрадывается страх: не наломали бы новых дров, исправляя прежние грехи. Примеры-то вот они, свеженькие.

Несколько лет назад некоторые ученые и недалекие писатели подняли кампанию в защиту неполной семьи, представляя ее как средство увеличения рождаемости в стране (поскольку полная семья резко ограничила число детишек), как условие обретения счастья незамужними женщинами и их потомством. Было принято правительственное решение о льготах и помощи матерям-одиночкам. Это действительно привело к резкому росту неполных семей (ежегодно более 500 тысяч мам рожают ребятшек вне брака). Однако в короткий срок пришло понимание: мера оказалась чреватой самыми тяжелыми последствиями и для мам, и для детей, и для общества. А еще — для пап. Без них-то, как известно, все равно не обойтись. Зато мамы стали частенько отказываться от регистрации брака с настоящим отцом ребенка, чтобы воспользоваться преимуществами одиночки: материальным пособием, первоочередностью получения жилья, места в садике и яслях. Незарегистрированные отношения всегда более хрупки, чем принародно засвидетельствованные. Вот и оказалось, что у «незаконного» папы позиции в семье самые неустойчивые. Нездоровая для ребятшек обстановка в неполных семьях (с приходящим папой) и приводит к тому, что выходцы из них составляют основной контингент детских домов и школ-интернатов, спецшкол для малолетних преступников. Дети из этих семей чаще, чем в полных, тяжело болеют, умирают, становятся хроническими инвалидами. И впоследствии у них трудней складывается семейная жизнь: опыт-то — со знаком минус!

Так что нужно не семь — сто семь раз отмерить, прежде чем принять решение, касающееся судьбы детей, семьи.

Ведь вполне может случиться и так, что какая-то часть не очень чадолюбивых родителей, узнав о щедрости народной, уже будет отдавать детей на государственный кошт из «гуманных» соображений: в детском доме, дескать, условия получше, чем в родительском. Значит, нужно предусмотреть меры, чтобы отказ от ребенка, воспитание его на общественный счет не было «выгодно» отцу-матери.

В интервью «Собеседнику» А. Лиханов уточнил: фонд — не просто денежная копилка, он прежде всего защитник интересов детей перед любыми органами и инстанциями от тех, кто эти интересы ущемляет, будь то безответственные родители, будь то дурные воспитатели, бездушные врачи или чиновники из собесов. Короче, своего рода — народный контроль. Если удастся общественную организацию возвысить над государственными учреждениями, то это будет, конечно, значительный шаг на пути демократизации нашего общества. Однако возможно ли этого достичь, если учредителями, как уже говорилось, выступают не доброхоты-общественники, известные ребячьи заступники, мудрые многодетные мамы, а все те же официальные органы, контролировать которые намеревается фонд? Что этот вопрос витает в воздухе, чувствуется и по упреждающему заверению председателя оргкомитета, что в новой организации не будет места «свадебным генералам», все будут работать засучив рукава. Выходит, на общественных началах правительственные учреждения и организации будут исправлять то, что будут ломать «по долгу службы»? Ведь если они будут все делать хорошо и правильно на рабочих местах, зачем еще одна надзирающая инстанция?

Поверьте, это не любопытство с подвохом. Искренняя обеспокоенность судьбой доброго начинания. Уже сейчас стало известно, что для будущего фонда подыскивается здание в несколько тысяч квадратных метров полезной площади в центре Москвы. Осознано начинает прорисовываться образ очередной Конторы! Ведь если такая огромная площадь отводится, значит, предполагаются и солидный штат, кабинеты, приемные, секретари. Мне представилась история создания фонда, сначала американского, теперь — всемирного: «Дети как миротворцы». Ни тебе правительственных решений, ни шикарного офиса с постоянным штатом, на который уйдет значительная часть взносов, а организация набирает силы и авторитет. Или благотворительная миссия, возглавляемая матерью Терезой, награжденной за свою бескорыстную деятельность Нобелевской премией и медалью «Борцу за мир», — кто ее «назначал» на эту святую должность?

В повести А. Лиханова «Благие намерения» и в одноименном фильме писатель справедливо предостерегал: нельзя к детям с израненной душой близко подпускать случайных людей. В том же интервью «Собеседнику» он приветствует решение двух супругов, проживших большую жизнь без собственных и чужих детей, поработать в школе-интернате. Меня же беспокоит широта вторжения «общественности» в эту сферу, требующую особой чуткости, педагогической и психологической образованности. Вспомните, как страдал от подобного контроля «дамсоцвеса» Макаренко. Есть опасность разгула «ярмарки тщеславия» у тех, кто готов «реализоваться в чужих детях» (выражение А. Лиханова), не реализовавшись в делах и в собственной семье.

Как-то грустно становится: бывавшая в нашем обществе организация, а создается по старой схеме.

Сейчас в разных учреждениях готовятся делить пригласительные билеты на будущую конференцию: их мало, дефицит. Естественно, достанутся они начальству. Любопытно увидеть рядом директора сыктывкарской школы-интерната № 1 А. Католикова с теми «благотельями» из Минпроса и АПН СССР, кто ему палки в колеса вставлял. Кстати, он белым на глазу и у тех своих коллег, кто первым протянет руку за воспо-

ВЛАДИМИР НАБΟΚОВ

1899—1977

Редчайший случай: двуязычный писатель, одинаково блестяще писавший и на русском, и на английском. Филолог, энтомолог, талантливый шахматист, но прежде всего, конечно, писатель. Набоков окончил Тенишевское училище, а затем Тринити-Колледж в Англии. Эмигрантом его не совсем правильно называют, ибо за границей он оказался в ранней юности. Набоков выпустил свой первый сборник стихов в 1916 году и затем, уже за границей, начал печатать свою прозу под псевдонимом Сирин. Он стал широко известен в эмигрантских кругах романами, написанными по-русски: «Машенька», «Защита Лукина», «Возвращение Чорба», «Приглашение на казнь», но постепенно круг его русских читателей вымирал, рассеивался, а широкий западный читатель не проявлял к его книгам большого интереса. Тогда Набоков предпринял, по утверждению некоторых современников, четко рассчитанный шаг — он написал по-английски роман о любви взрослого человека к девочке — «Лолита». Роман стал сенсацией, и во многом благодаря этой сенсации Набоков заставил западных издателей выпускать его более серьезные произведения, а западных читателей — читать их. Набоков теперь уже мог позволить себе роскошь перевести «Лолиту» на русский с английского и сделать такую гигантскую работу, как подстрочный перевод «Евгения Онегина» с подробными комментариями. Прозу Набокова многие исследователи ассоциируют с Кафкой, Прустом. Мне кажется, она ближе к Гоголю, к пушкинской «Пиковой даме» и некоторым обра-



зом к «Запискам из подполья» Достоевского. Проза Набокова напоминает мне гигантский воздушный остров, летящий в межпланетном пространстве, где в застекленных оранжереях есть место и для русских ромашек в горшочках с русской землей, и для зеленобархатных квадратиков дерна, срезанных с английских газонов и аккуратно уложенных в транзитные ящики. Со словами он себя вел, как с бабочками энтомолог, ловя их сачком, накалывая на страницы и любясь переливами красок на крыльях. Многие рассказы Набокова напоминают изящные шахматные этюды. В стихах Набоков больше классицист, чем в прозе, и даже Пастернак ему казался чем-то вроде Бенедиктова. Набоков, безусловно, заслуживает издания собрания сочинений. Его творчество — это как сады Семирамиды с воздушными корнями. Но воздух — тоже своего рода почва.

печатает на розовых листах невероятной станции название.

И человек бесстрастно рассует те лепестки по ящикам в конторе, где на стене глазастый пароход и роща пальм, и северное море.

И есть уже на свете много лет тот равнодушный, медленный приказчик, который выдвинет заветный ящик и выдаст мне на родину билет.

1927 г.

РАССТРЕЛ

Бывают ночи: только лягу, в Россию поплывет кровать; и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула, где спички и часы лежат, в глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, — вот-вот сейчас пальнет в меня — я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознания коснется тиканье часов, благополучного изгнания я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело, чтоб это вправду было так: Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг.

Берлин, 1927 г.

К РОССИИ

Мою ладонь географ строгий разрисовал: тут все твои большие, малые дороги, а жилы — реки и ручьи.

Слепец, я руки простираю и все земное осязаю через тебя, страна моя. Вот почему так счастлив я.

И если правда, что намердны мне померещилось во сне, что час беспечный, час последний меня найдет в чужой стране,

как на покато́й школьной парте, совьешься ты подобно карте, как только отпущу края, и ляжешь там, где лягу я.

1928 г.

БЕЗУМЕЦ

В миру фотограф уличный, теперь же царь и поэт, парнасский самодержец (который год сидящий взаперти), он говорил:

«Ко славе низойти я не желал. Она сама примчалась. Уж я забыл, где муза обучалась, но путь ее был прям и одинок. Я не умел друзей готовить впрок, из лапы льва не извлекал занозы. Вдруг снег пошел; гляжу, а это розы.

Блаженный жребий. Как мне дорога унылая улыбочка врага. Люблю я неудачника тревожить, сны обо мне мучительные множить

ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ

РУССКАЯ МУЗА XX ВЕКА

ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

и теневой рассматривать скелет завистника прозрачного на свет.

Когда луну я балую балладой, волнуются деревья за оградой, вне очереди торопясь попасть в мои стихи. Доверена мне власть над всей землей, соседу непослушной.

И счастье так ширится воздушно, так полнится сияньем голова, такие совершенные слова встречаются мысль и улетают с нею, что ничего записывать не смею.

Но иногда — другим бы стать, другим! О, поскорее! Плотником, портным, а то еще — фотографом бродячим: как в старой сказке жить, ходить по дачам, снимать детей пятнистых в гамаке, собаку их и тени на песке».

1933 г.

КАКОЕ СДЕЛАЛ Я ДУРНОЕ ДЕЛО

Какое сделал я дурное дело, и я ли развратитель и злодей, я, заставляющий мечтать мир целый о бедной девочке моей.

О, знаю я, меня боятся люди, и жгут таких, как я, за волшебство, и, как от яда в полом изумруде, мрут от искусства моего.

Но как забавно, что в конце абзаца, корректору и веку вопреки, тень русской ветки будет колебаться на мраморе моей руки.

Сан-Ремо, 1959 г.

БИЛЕТ

На фабрике немецкой, вот сейчас, — дай рассказать мне, муза, без волненья! — на фабрике немецкой, вот сейчас, все в честь мою, идут приготовления.

Уже машина говорит: «жую; бумажную выглаживаю кашу; уже пласты другой передаю». Та говорит: «нарежу и подкрашу».

Уже найдя свой правильный размах, стальное многорукое созданье

моществованием. Ведь в его интерна-те живет и действует макаренковская система: оттого он не только не нуждается в дотациях, сам готов помогать бывшим воспитанникам. Найдут ли коллеги взаимопонимание относительно целей и средств фонда? В одном из первых откликов в печати на учреждение фонда довелось прочитать: общественные деньги необходимы, например, хорошему детскому дому, у которого нет средств, чтобы купить плафоны к лампочкам, скамейки для кукольного театра. Это же надо дойти до такого перевернутого представления о воспитании детей, чтобы «хорошим» именовать детский дом, где ребята не могут ни работать, ни заработать деньги на элементарные вещи для собственного обихода!

Вопросы, вопросы, вопросы... Пока что их больше, чем ответов. Но выкристаллизовались и предложения.

1. Отодвинуть на несколько месяцев учредительную конференцию.

(Перенесли же всесоюзный съезд учителей из-за неподготовленности науки и практики к решению вопроса о коренной перестройке народного образования.)

2. Провести всенародное обсуждение целей и средств нового фонда, характера и масштаба его деятельности.

3. Предоставить самим детям, школьникам и воспитанникам детских домов, решать: кто из взрослых может представлять их интересы на всех уровнях. Тут равными могут оказаться и именитые, и безвестные, но любимые ими учителя, общественные работники, писатели, артисты, художники, ребячьи комиссары из дворовых команд, и руководители различных кружков, станций, клубов, студий, и домохозяйки — мамы, бабушки, к которым они тянутся сердцем. Лишь в таком случае можно будет говорить, что у детей есть Свой фонд. Выборы могут быть прямыми

и поэтапными, но обязательно честными, без давления.

4. Во главе организации, как во главе полноценной семьи, должны быть два равноправных сопредседателя: мужчина и женщина. Ее место должна занять мать семейства, мудро и искусно исполняющая свою миссию, пользующаяся при этом признанием общественности. (В моих глазах лучшей кандидатурой является Л. Никитина, вырастившая семерых прекрасных людей и граждан, создавшая модель физически и нравственно здоровой современной семьи. По ее примеру, по ее книгам строят свою жизнь тысячи семей у нас и за рубежом.)

5. Самое деликатное предложение. Его и выговорить-то трудно. И смолчать не могу. Присвоить фонду другое имя. Имя великой Матери, давшей миру плеяду борцов за счастье народное, — Марии Александровны Ульяновой. Уверена: Владимир Ильич одобрил бы.

Послесловие.

В публикациях последних дней все громче и серьезнее критикуются ошибки прошлого. Чем дальше стоит во времени событие, тем резче и убедительнее звучат суждения. Одновременно слышатся и признания о «крепости нашего заднего ума». Может, наряду с обсуждением и осуждением того, что делалось другими, пора пристальной рассмотреть, что делается нами и при нас? Ю. Черниченко метко, хоть и едко, назвал нынешний период «гласностью в мягких тапочках». Она до той поры не снимет удобной обуви, пока будет тяготеть к стилю «ретро», не будет сметь свое суждение иметь и непременно высказывать его — по только что принятым решениям.

А читатель, хочется верить, правильно поймет позицию автора, многие годы ратующего за помощь семье и детям. Потому естественна просьба: гонорар за данную публикацию перечислить на счет № 707.



Б. В. ИОГАНСОН. 1893—1973.
СОВЕТСКИЙ СУД. 1928.

Самой жизнью, документами ее истории, без которых невозможно представить советское искусство, стали картины Бориса Владимировича Иогансона, художника, стоящего у истоков социалистического реализма. Ученик Коровина, он принадлежал к поколению художников, принявших эстафету великого русского реалистического искусства.

Одна из первых картин Иогансона, отражающих советскую действительность, — «Советский суд». Глубокое понимание сложных противоречий происходящего подсказало художнику изображение современности в столкновении нового со старым.

В тридцатые годы Иогансон создает полотна, которые вправе называться советской классикой. «Допрос коммунистов» и «На старом уральском заводе» в полной мере раскрыли талант художника, психолога, человека.

ПАЛИТРА ЭРЫ ОКТАБРЯ

Продолжателем лучших традиций советской живописи, главной темой которой стала жизнь народная, можно назвать Владимира Федоровича Стожарова. Быт и праздники, красоту крестьянского труда, природу и архитектуру русского Севера писал Стожаров.

Не цветущий синий, а созревший, рабочий ленок, готовый к «чудесным превращениям», видим мы на столе среди предметов домашней утвари, орудий труда, с помощью которых скоро превратится в расшитое полотенце. Предельно просто. Но за этой простотой мудрость жизни.

В. Ф. СТОЖАРОВ. 1926—1973.
НАТЮРМОРТ. ЛЕН. 1967.





А. А. ДЕЙНЕКА. 1899—1969.
НАЕМНИК ИНТЕРВЕНТОВ. 1931.

ПАЛИТРА
ЭРЫ
ОКТАБРЯ

Александр Александрович Дейнека — это целая эпоха в истории советской художественной культуры, вдохновенный поэт революции. «...Велика и почетна роль художника, — писал Дейнека, — правильно показать в искусстве героиню тех дней. Мне удалось написать картину «Оборона Петрограда», несколько портретов ее участников, я счастлив этим. Художник обязан глубоко и зорко видеть и понимать, чем живет его родина. Обязан это так показать, чтобы зритель сказал: я это видел, знаю, я это люблю...» Идея всего творчества Дейнеки, творчества светлого, радостного, жизнеутверждающего заключена в этих словах.

Но художник не избегал показывать и отрицательные, теневые явления жизни, строя произведения такого плана на материалах прошлого. В картине «Наемник интервентов», возвращающей нас к событиям гражданской войны, показана страшная сущность силы, которая превращает человека в орудие истребления и насилия. Это картина-предчувствие, картина-предупреждение...

Максим ТАНК

Когда-то, чему бы я ни учился —
Держать в руках плуг,
Играть на жалейке,
Кроить свежий каравай,
Под сруб закладывать подпол,
Устремляться за мечтой
В дальние дали,
Искать свое счастье
В метелях и бурях, —
Все для меня было
В первые.

А сегодня
Я все думаю о другом.
Тревожусь,
А вдруг эти строки
Последние.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

Видимо, земля
Ускорила свое вращение.

Как обезумевшие,
Торопятся часы,
А за ними —
Годы и десятилетия.

Все больше в ходу
Скороспелые кормовые культуры.

Дети,
Еще держа в губах соски,
Приобщаются к спорту.
Становятся чемпионами.

Все стремительнее
Переименовываем
Города, поселки, улицы,
Меняем героев на пьедесталах
почета.

Соревнуемся, кто быстрее
Забудет родной язык.

Не хватает времени,
Чтобы навестить старых друзей,
И даже в посланиях к ним
Не успеваем
Расставить знаки препинания.

Вы думаете,
Нас на белом свете
Один и тот же
Овеивает ветер?

Их много — зимних,
Летних и осенних,
Сменяясь, дуют
В разных направлениях.

Вот и сегодня, —
Сам себе не верю! —
Один из них
Опять стучится в двери.

«Кто там?»
«Открой. Отбушевала вьюга.
Не узнаешь
Испытанного друга?»

Ведь я — апрельский.
Мы с тобою вместе
Земле несли
Весенние известия.

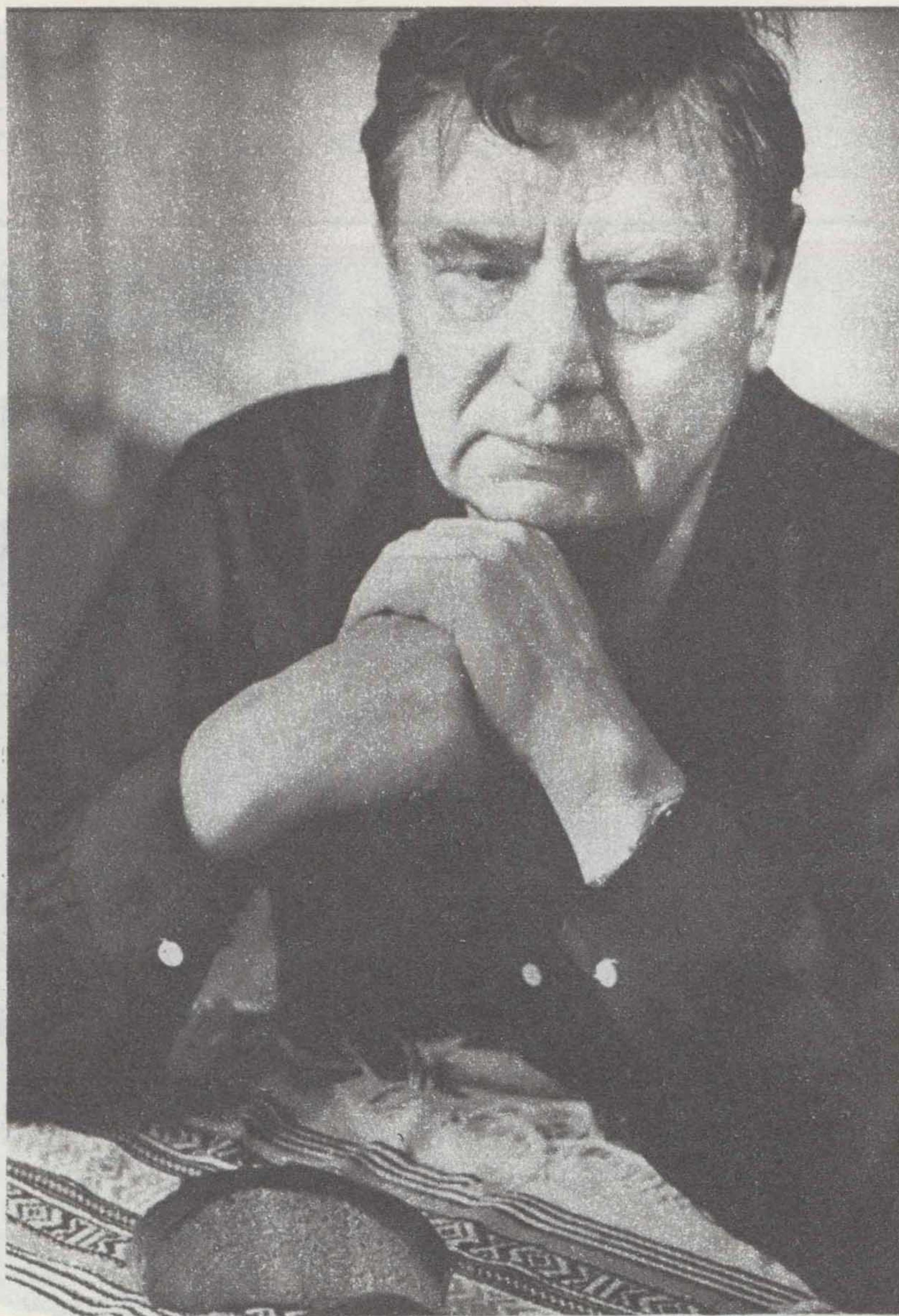
Гуляли мы
По большакам и селам
И сватались
К ровесницам веселым.

Мы и теперь
Попутчики повсюду...
Я дверь открыл.
Я гостю рад, как чуду.

Меня иные сверстники
Забыли,
А он хранит
Годов минувших были.

НА МЕТЛЕ

Почти ко всем
Романтическим героям
Любовь прилетала
То на крыльях Амура,



ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ
ИЗВЕСТНОМУ БЕЛОРУССКОМУ ПОЭТУ
МАКСИМУ ТАНКУ.
«ОГОНЕК» СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРА.

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

То по мановению Эола,
То на морской волне.

А ты, я помню,
На мое удивленное:
— Каким ветром тебя принесло? —
Дерзко ответила:
— Разве не понятно?
На метле!
Я сразу догадался, кто ты.

Но, будучи не робкого десятка,
Стал тебе помогать.
Подметал двор к празднику,

Ходил по воду,
Осенью собирал яблоки в саду,
Зимой согревал своими губами
Твои озябшие руки.

Вот и пришлось
Мастерить колыбель...

Признаюсь вам,
Обидно становится при мысли,
Что только одно детство
С его забавами,
Только одна юность
С ее мечтами,
Только одна первая любовь
С ее радостями и печальми

Отпущена в этой жизни
Рождающемуся на свет.

А еще обиднее,
Что на том свете
Не увидишь рябину под своим окном,
Не утолишь жажду
Из дворового колодца,
Не наведишь соседа
И больше ни от кого не услышишь:
— Добрый день!

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДНЯ И НОЧИ

Ошибаются те,
Кто все еще верит,
Будто протяженность дня и ночи
Подтверждается только
астрономическими расчетами.

И я так думал,
Пока однажды не услышал,
Как девушки, идущие с поля,
Весело распевают:
«Если захочу,
День укорочу,
Если полюблю,
Ноченьку продлю...»

Ах, какие это были певуньи!
Каждая из них
Могла не только день укоротить
И продлить ночь,
Но и осчастливить
На всю жизнь.

Памяти Миколы Нагнибеды

День серел
От осенних дождей и ветров.
Тут внезапная встреча —
Приехал Микола.
Обнялись,
— Вот и славно! Как жив, как здоров?
— Кое-как... —
Отвечает надтреснутый голос.

— Отдохнешь, я надеюсь,
Денечек-другой,
Всех сябров соберем!.. —
Кто бы мог догадаться,
Что уже на излете
Наш друг дорогой
Напоследок приехал,
Навек попрощаться.

Он бодрился,
Хоть, верно, уж не было сил,
Говорил о ближайших своих
переводах.

— Созвонимся! —
Он в книжную лавку спешил.
У меня — заседание.
Какой уж там отдых!
Весть из Киева — вскоре —
Случилась беда.
Нет Миколы...
А все ж, хоть и поздно казнить, —
Если б мы по делам
Не спешили тогда,
Может, смерть не посмела б
К нему подступиться.

Порою в мучительных снах
Я вижу этапный свой шлях.
С друзьями устало бреду,
Стихи бормочу на ходу,
Крамольные столбики строк...
А ждет меня панский острог.
Ни звездочки, ни огонька,
Лишь проблеск чужого штыка.
Конвойный кричит, озверев:
— Эй, пенёк оставь, пся крев!
Коммуна, холопы, пся мать... —

В поту я проснулся опять.
Я дома. И дремлет село.
Вот-вот загорится рассвет.
Что ж, прав был китайский поэт:
«Все было уже и прошло...»

Уж такой неуживчивый у меня
характер...

Не припомню дня,
Когда бы я не спорил
То с дождем, идущим невпопад,
То с ветром,
Не с той стороны веющим,
То с дорогой,
Загадочно петляющей,
То с причудами времени,
Которое либо торопится,
Либо нудно тянется,
То обнадеживая,
То удручая.

Но больше всего
Тревожит меня,
Что учащаются мои споры
С самим собой.

Спрашиваешь:
— Отчего ты загрустил?

Но как же не грустить,
Если во время дождя
Глаза твои прикрывает зонтик.
Если улица,

По которой тебя провожаю,
До ужаса коротка.
А когда мы расстаемся,
Ты попадаешь в объятия ветра...

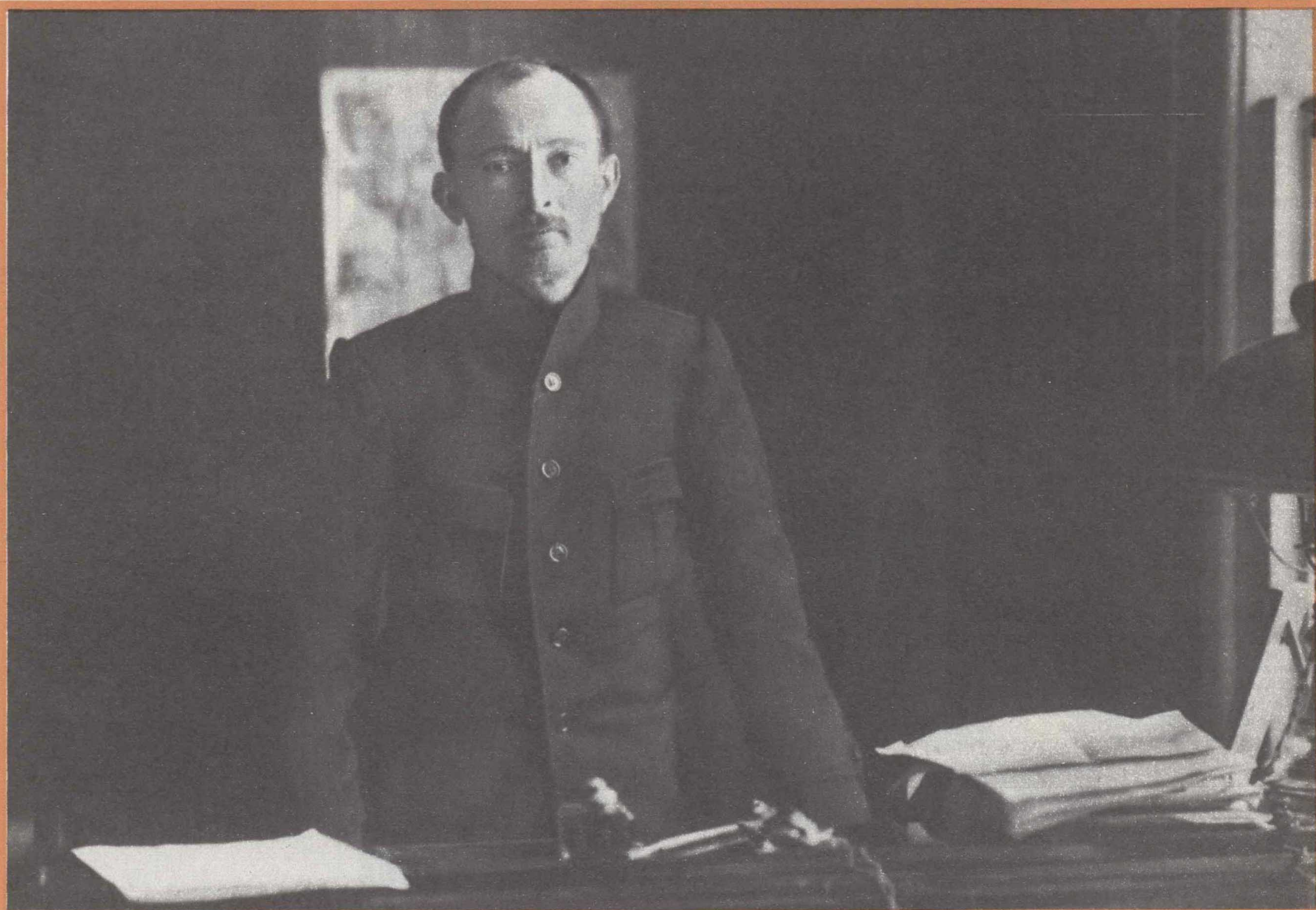
Перевел с белорусского
Яков Хелемский

Фото Виктора ЖУКА

1917 • 1987

ЮНОШЕ, ОБДУМЫВАЮЩЕМУ ЖИТЬЕ,
РЕШАЮЩЕМУ — СДЕЛАТЬ БЫ ЖИЗНЬ С КОГО,
СКАЖУ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ — «ДЕЛАЙ ЕЕ
С ТОВАРИЩА ДЗЕРЖИНСКОГО».

В. Маяковский



ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ

К 110-Й
ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ

Декабрь 1917 года. Первые недели только что рожденной Страны Советов. Сотни жизненно важных вопросов требовали от ЦК партии большевиков, В. И. Ленина каждодневного напряжения. Вопрос стоял о жизни и смерти молодого государства. В первую голову надо было удержать власть, защитить завоевания социалистической революции.

Порою в течение суток приходилось проводить по нескольку заседаний Совета Народных Комиссаров. Накануне одного из них Владимир Ильич направил Ф. Э. Дзержинскому записку о необходимости принятия срочных мер по борьбе с контрреволюционерами и саботажниками. Ф. Э. Дзержинский тут же предложил создать комиссию, назвать ее Чрезвычайной.

20 декабря 1917 года на заседании СНК была образована Всероссийская

Чрезвычайная Комиссия при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Председателем ее утвердили Феликса Эдмундовича Дзержинского. Ленин сказал: «Теперь защита революции в надежных руках...»

Имя выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, верного ученика и соратника Владимира Ильича Ленина Ф. Э. Дзержинского стоит в ряду первостроителей нашего государства. Жизнь и деятельность этого необыкновенного человека, истинного, по ленинскому выражению, пролетарского якобинца, была отдана борьбе за дело партии без остатка.

Известно его бесстрашие, твердость к врагам трудящихся, в то же время он тонко разбирался в поэзии, любил книгу, музыку. Его жизнелюбие, верность коммунистическим идеалам притягивали, спланивали вокруг него людей.

Ф. Э. Дзержинский ценил в людях

честность, трудолюбие, преданность Советской власти, делу Коммунистической партии. И какие бы высокие государственные посты он ни занимал, всегда оставался образцом скромности. Феликс Эдмундович сам умел и учил доверять людям. Он предоставлял для сотрудников широкий простор деятельности, наделял их большими полномочиями. Тем не менее был чрезвычайно строг к тем, кто хоть единожды нарушил революционную законность. Он говорил: «Нет, кто стал черствым, не годится больше для работы в ЧК». Ошибаясь в чем-то сам, он мог, не стесняясь, не скрывая своего просчета, сказать подчиненным: «Да, вы были правы, я ошибся».

Сын Дзержинского Ян Феликсович говорил об отце так: «Отец отнюдь не был аскетом, каким его кое-кто считал. Он любил жизнь, умел пошутить, посмеяться. Отец страстно любил природу, особенно лес...» Будучи беспощадным к врагам револю-

Александр ПОДОБЕД

ции—саботажникам, шпионам и спекулянтам,—Ф. Дзержинский был внимательным к людям. Вот что о нем говорил В. Р. Менжинский: «Для того, чтобы работать в ЧК, вовсе не надо быть художественной натурой, любить искусство и природу. Но если бы у Дзержинского всего этого не было, то Дзержинский, при всем его подпольном стаже, никогда бы не достиг тех вершин чекистского искусства по разложению противника, которые делали его головой выше всех его сотрудников».

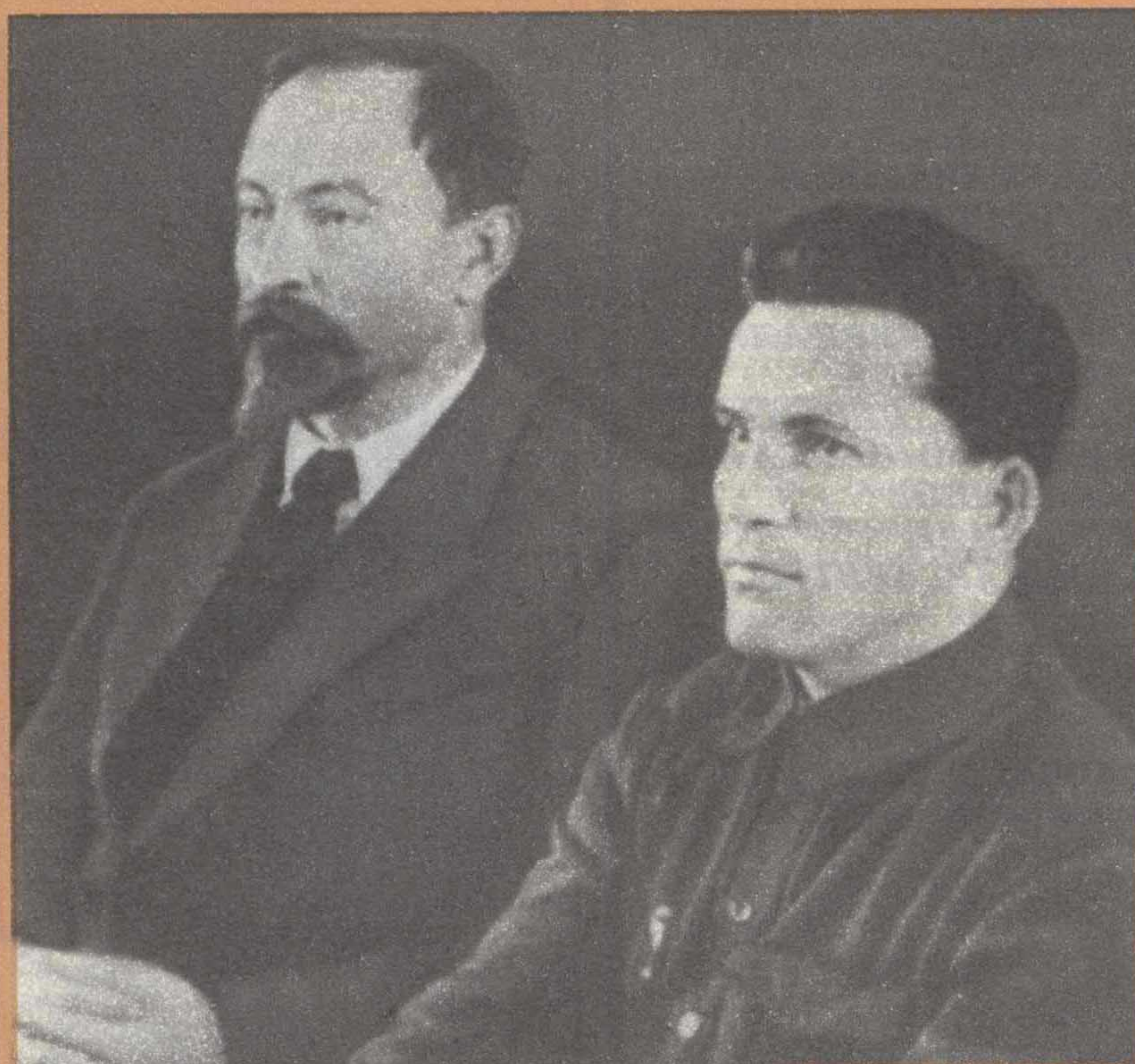
Органы ЧК должны разить только действительных врагов Советской власти и не затрагивать людей, случайно втянутых в антисоветскую деятельность, указывал Феликс Эдмундович.

Родился Дзержинский 11 сентября 1877 года на хуторе в Белоруссии (ныне Столбцовский район Минской области) в польской семье. Рано лишился отца, вся тяжесть по воспитанию четырех братьев и трех сестер легла на плечи матери—Елены Игнатьевны Янушевской-Дзержинской. Материальное положение семьи было трудным. Может быть, с тех пор зародилась в его сердце любовь к людям неимущим, к детям, любовь, которую он пронес до последних своих дней. Ф. Э. Дзержинский как-то сказал Анатолию Васильевичу Луначарскому: «Ведь когда смотришь на детей, то не можешь не думать—все для них! Плоды революции—не нам, а им!..»

Более пяти миллионов детей России, лишившихся родителей, оказались в то суровое время беспризорными. Они нуждались в помощи, заботе, а проще сказать, в куске хлеба, крыше над головой, да в кое-какой одежонке. Они нашли эту заботу в лице представителей Советской власти. 27 января 1921 года Ф. Э. Дзержинский был назначен на пост председателя детской комиссии ВЦИК. Ф. Э. Дзержинский к этому государственному поручению приступил немедленно. Подбирал дома для трудовых колоний и коммун, для детских садов и приютов, собирал нужных людей для воспитательной работы с детьми. Беспощадно боролся с равнодушием и косностью. Он просил, разъяснял, требовал, убеждал... Он не мог себе представить, что есть руководители, наделенные властью, которые не понимают гуманной и государственной важности благородной миссии по спасению детей.

В стране трудно было с транспортом. Срывались государственные перевозки. На железной дороге царил хаос, вредительство. На ответственных должностях сидели хапуги, рвачи, саботажники. Ленин был не удовлетворен работой бывших четырех наркомов путей сообщения. И тогда Владимир Ильич принимает решение рекомендовать Ф. Э. Дзержинского наркомом путей сообщения. Им были организованы управления дорог, подобраны на ответственные участки специалисты-железнодорожники, порою не разделявшие принципов новой власти, но тем не менее честно работавшие на Советы. Дзержинский лично вникал в вопросы технической реконструкции железных дорог, принимал рационализаторов и изобретателей. Он не чурался никакой черновой работы, если ее выполнение было связано с интересами партии. Будучи наркомом путей сообщения, Ф. Э. Дзержинский не посчитал неудобным отстоять общую очередь за билетом на поезд. Этот факт говорит о его скромности, он поучителен и сегодня.

А в феврале 1924 года Ф. Э. Дзержинский возглавил ВСНХ. От руководящего состава ВСНХ он потребовал решительной борьбы с излишествами, поиска новых резервов в промышленности, увеличения производительности труда, соблюдения экономии государственных средств, а так-



же сырья, материалов, топлива, электроэнергии. Вопросы подъема экономики страны у Феликса Эдмундовича стояли на первом месте.

А в редкие часы досуга Феликс Эдмундович любил послушать Шопена, Грига, Бетховена, Чайковского в исполнении жены Софьи Сигизмундовны, прекрасной пианистки. Возможно, любовь к искусству передавалась ему от матери, которая музыку обожала. Она владела несколькими иностранными языками, рано начала читать детям книги, учила осмысленно воспринимать прочитанное. А еще Феликс Эдмундович любил стихи Мицкевича, часто их декламировал.

Автору этой статьи Софья Владиславовна Дзержинская как-то рассказала, с каким вниманием и волнением Феликс Эдмундович слушал песни, особенно «Дубинушку» и «Вихри враждебные», «Смело, товарищи, в ногу...»

Умер Феликс Эдмундович Дзержинский на сорок девятом году жизни. Сегодня не верится тому, как молод он был. Но он успел выстроить прекрасную жизнь—жизнь профессионального революционера, стража и первостроителя Советского государства.



●
ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВЧК. 1917 ГОД (фото слева).

●
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЧК(б)
С С. М. КИРОВЫМ.
ФЕВРАЛЬ, 1926 ГОД.
(ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ
ФОТОГРАФИЙ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО).

●
МОСКВА, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.
СРЕДИ ВОИНОВ
МОЛОДОЙ КРАСНОЙ АРМИИ.
(КРАЙНИЙ СПРАВА —
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ).

●
С ПОЛЬСКИМИ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ
Ю. МАРХЛЕВСКИМ
И Ф. КОНОМ. 1920 ГОД.



ОБ ОГРОМНОМ ИНТЕРЕСЕ
САМОГО ШИРОКОГО ЧИТАТЕЛЯ
К ИМЕНИ
МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА,
НАВЕРНОЕ, НЕ СЛЕДУЕТ ГОВОРИТЬ —
ОН БЕССПОРЕН. ТАК ИЛИ ИНАЧЕ К ТВОРЧЕСТВУ
И ЖИЗНИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПИСАТЕЛЯ
ПОСТОЯННО ОБРАЩАЕТСЯ И НАШ ЖУРНАЛ.
СЕГОДНЯ, УЧИТЫВАЯ ПОЖЕЛАНИЯ,
ВЫСКАЗАННЫЕ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПИСЬМАХ,
МЫ ПУБЛИКУЕМ НА СТРАНИЦАХ «ОГОНЬКА»
МАТЕРИАЛЫ, ОТКРЫВАЮЩИЕ
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
СУДЬБЫ АВТОРА «МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ».

Мариэтта ЧУДАКОВА,
доктор филологических наук

АДАМ И ЕВА СВОБОДНЫ



Пьеса Михаила Булгакова «Адам и Ева» была задумана и написана в критический год жизни ее автора — 1931-й.

Но прежде обратимся к лету 1930-го — времени его надежд, возбужденных телефонным звонком Сталина 18 апреля. Об этом звонке Булгаков широко и охотно рассказывал — ему необходимо было разредить таким образом атмосферу, сгустившуюся в последний год вокруг его имени. Характерна в этом смысле запись в дневнике московского букиниста Э. Ф. Циппельсона. 12 июня 1930 года, воспроизводя юмористические реплики Булгакова — частого посетителя книжной лавки на Кузнецком мосту, он пишет: «Но вот гораздо бо-

лее серьезно то, что он рассказал мне недели две тому назад. Он сидел в чрезвычайно скверном настроении у себя в кабинете. И на самом деле. Его не печатают совершенно. Все его пьесы запрещены. Его стремление попасть на сцену Художественного театра в качестве артиста (уже была и фамилия — Народов) не увенчалась успехом. И вдруг... Звон по телефону. Булгаков подходит и не верит своим ушам. У телефона сам И. В. Сталин. Булгаков по понятным причинам не передал мне содержания разговора, но через несколько дней он был назначен (уже не артистом) режиссером Художественного театра».

Еще до поступления в МХАТ на должность режиссера-ассистента и до разговора со Сталиным Булгаков был

принят на должность консультанта в московский ТРАМ (Театр рабочей молодежи) и 15 июля уехал с трамваями в Крым. Едва он оказался в Мисхоре в пансионате «Магнолия», как, по воспоминаниям Любови Евгеньевны Белозерской, «получил вызов в ЦК партии, но бумага оказалась Булгакову подозрительной. Это оказалось «милой шуткой» Юрия Олеши. Вообще Москва широко комментировала звонок Сталина. Каждый вносил свою лепту выдумки¹, что продолжается по сей день» (писала она, работая над воспоминаниями в 1968—1969 гг.)².

¹ Об этом пишет и П. С. Попов Булгакову 28 февраля 1932 г. (см. «Новый мир», 1987, № 2, с. 147).

² В мае 1970 года во время одной из наших встреч Л. Е. Белозерская

По-видимому, к этому времени у него возникли уже какие-то отношения с одним ленинградским театром — еще с дороги он пишет жене: «Из Ленинграда должна быть телеграмма из театра. Телеграфируй ко-

(1898—1987), согласившись с резонами автора этой статьи, выступившего в данном случае в качестве старшего научного сотрудника Отдела рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина, передала рукопись воспоминаний, вместе с некоторыми другими материалами, для присоединения к архиву Булгакова (незадолго до того переданному в Отдел рукописей Е. С. Булгаковой) и специально оговорила запрет на использование их при ее жизни; девять лет спустя она опубликовала этот текст с некоторыми изменениями (Белозерская-Булгакова Л. Е. О мёде воспоминаний... Ann Arbor, 1979), и с тех пор он вошел в научный оборот.

БУЛГАКОВЫ И ИХ ДРУЗЬЯ

С Еленой Сергеевной — вдовой Михаила Афанасьевича Булгакова — я познакомился в 1966 году в квартире сестер: Евгении Григорьевны Андреевой-Арендт и Дарьи Григорьевны Леонтьевой.

Евгения Григорьевна Андреева-Арендт — актриса, а ее муж — Андрей Андреевич Арендт — врач, профессор, известный нейрохирург.

Младшая из сестер — Дарья Григорьевна — переводчик, была помощницей Евгении Григорьевны во всех делах. Она была замужем за добрым и отзывчивым человеком, талантливым театральным организатором, директором в 30-е годы МХАТа, а затем ГАБТа — Яковом Леонтьевичем Леонтьевым. Его очень любили актеры,

режиссеры, писатели, которым он сильно помогал.

Дружеские отношения Булгакова и Леонтьева возникли в начале 30-х годов, когда они встретились во МХАТе. А работая в ГАБТе, Леонтьев пригласил Булгакова, у которого в это время было тяжелое положение, и поручил ему писать либретто. Их дружба переросла в дружбу семьями. Очень часто Леонтьевы-Арендт были одними из первых слушателей произведений Булгакова. В 1937—1938 годах Михаил Афанасьевич читал в их доме свой роман «Мастер и Маргарита». Однажды, после чтения пьесы «Мольер», Булгаков обратился к Леонтьеву: «Жан-Жак! (так Булгаков в шутку называл Я. Л. Леонтьева), скажите откровенно, как пьеса?» Леонтьев ответил: «Пьеса превосходная, но Сталин никогда не разрешит ее играть».

После смерти Булгакова, а через восемь лет — Леонтьева Елена Сергеевна Булгакова продолжала дружить с «сестрами», так она называла Евгению Григорьевну и Дарью Григорьевну, и с Андреем Андреевичем Арендтом. В один из весенних вечеров 1966 года у «сестер» и произошло мое знакомство с Еленой Сергеевной.

Как-то я показал Елене Сергеевне имевшийся у меня экземпляр «Собачьего сердца». Через несколько дней она позвонила: «Ваш экземпляр фальшивый. Приходите. Я вам дам машинописный экземпляр, правленный Михаилом Афанасьевичем».

После опубликования в журнале «Москва» романа «Мастер и Маргарита» мы с женой зашли к Елене Сергеевне. Поздоровались. Жена показала, как она, по примеру Елены Сергеевны, сделала матерчатый переплет, вырезав из журнала роман. Елена Сергеевна тут же дала напечатанные на машинке пропуски в романе «из-за нехватки места в журнале», добавив: «У Симонова такие же врезки в жур-

ротко, что предлагает театр». Ответом на полученные известия была его телеграмма от 23 июля в Ленинград, в Совкино — Вольфу: «Согласен писать пятом годе условиях предоставления мне выбора темы работа грандиозна сдача пятнадцатого декабря если пьеса монопольна Вас Ленинграде сверх авторских две тысячи рублей остальных городах пьеса свободна Аванс одна тысяча рублей переведенный немедленно адрес Любови Евгеньевны Булгаковой Москва Большая Пироговская 35а квартира шесть сочту началом работы случае неприема пьесы или запрещения аванс безвозвратен Булгаков». Столь тщательное оговаривание денежных условий не должно вызывать удивления — ведь иначе в «случае неприема» он не получил ни копейки за заказанную работу.

Мы полагаем, что заказ шел из Красного театра Госнардома; нетеатральный адрес связан был скорее всего с тем, что до 1929 года директор театра В. Е. Вольф заведовал сценарным отделом Совкино¹, к тому же здание Госнардома находилось рядом.

Но 3 августа в Мисхор пришла телеграмма такого содержания: «Пьесу пятом годе решено не заказывать Фольф» (т. е. В. Е. Вольф). Отношения с театром на этом, однако, не прервались. О том, как они развивались, впервые рассказала в своих воспоминаниях, написанных в июле 1974 года², Екатерина Михайловна Шереметьева, занимавшаяся литературной частью театра; ей и поручила дирекция обратиться к Булгакову с предложением о сотрудничестве.

По ее мнению, все это происходило осенью 1930 года; добавим, точности ради, что во всяком случае не позже весны 1931-го. «Это был рискованный шаг для молодого, передового революционного театра, каким считался и в самом деле являлся Красный театр, — вспоминает Е. М. Шереметьева. — О письме Булгакова Сталину и о зачислении Михаила Афанасьевича в МХАТ ходили смутные слухи, но кто знал, насколько они достоверны? А то, что «Зойкина квартира», «Багровый остров» и даже шедшие три года в МХАТе «Дни Турбиных» сняты и запрещены, что Бул-

гаков «не тот» автор, — точно знали в театральных и литературных кругах. Нужна была большая смелость, вера в значительность и своеобразие огромного таланта Булгакова, чтобы взять на себя ответственность за обращение к нему, заказ пьесы и выплату максимального аванса». Ей запомнилась первая встреча с Булгаковым в его квартире на Пироговской, разговор о ее двоюродной сестре Ларисе Рейснер («Булгакову Лариса не нравилась, — рассказывала она нам, — он считал ее театральной...») и семье ее отца, М. А. Рейснера. (Интерес этот был не случайным — нам приходилось уже высказывать предположение о том, что резкая антирелигиозная направленность предисловия М. А. Рейснера к переводу книги А. Барбюса «Иисус против Христа» (М.-Л., 1928); сама система его аргументации произвела на Булгакова определенное впечатление и отозвалась в работе над начатым в том же 1928 году романом «Мастер и Маргарита».) «Когда мы вышли из квартиры Булгакова, дворник усиленно заработал метлой, вздымая перед нами облако пыли. Лицо Михаила Афанасьевича еле заметно непрялось, он поторопился открыть калитку. На улице сказал раздраженным:

— Прежде он униженно шапку ломал, а теперь пылит в лицо.

Я хотела было ответить, что не стоит обращать внимания, а он с тем же раздражением и, пожалуй, болью сказал:

— Как жило холуйство, так и живет. Не умирает».

Е. М. Шереметьева вспоминает и о приезде Булгакова в Ленинград, о знакомстве с постановками Красного театра и с его дирекцией, о вечеринке в квартире одной из актрис, где он «рассказывал о МХАТе и о Станиславском, не копируя его, но какими-то штрихами отчетливо рисуя характер и манеру говорить и стариковский испуг, когда Константин Сергеевич в разговоре со Сталиным вдруг забыл его имя и отчество. Рассказал о разговоре Станиславского с истопником, которому он советовал растапливать печи, как это делали в его детские годы в доме Алексеевых...» — на глазах слушателей рождалась и закреплялась та повествовательная ткань, которая через несколько лет с такой быстротой и легкостью заполнила страницы рукописных тетрадей «Записок покойника» («Театрального романа»). На первых порах театр, судя по тем же воспоминаниям, поставил автору лишь одно условие — «пьеса должна быть о времени настоящем

или будущем», а тему ее автор определял сам.

Поздней осенью 1930 года общественная атмосфера была сумрачной: в газетах появились сообщения об арестах по делу Промпартии; по учреждениям шли митинги — клеймили «вредителей»; делались доклады об аполитизме в науке; проводились писательские собрания на сходную тему. Все это не улучшало настроения Булгакова, для которого все более и более уяснялось, что апрельский телефонный разговор оказался ловушкой — он не принес ему ничего, кроме зарплаты во МХАТе. Ни одна из трех пьес, снятых с репертуара, не была возобновлена, а «Бег» и «Кабала святош» так и остались в столе.

В архиве писателя сохранился листок, датированный 28 декабря 1930 года, с черновыми набросками стихотворения под названием «Funérailles» («Похороны»).

В тот же миг подпольные крысы
Прекратят свой флейтный свист,
Я уткнувшись головой в белобрысую
В недописанный лист.

Трагические строки («Под твоими ударами я, Господь, изнемог») не оставляют сомнений относительно того состояния, в каком встречал Булгаков 1931 год. Вскоре оно усугубилось личными обстоятельствами.

Второй год продолжался тайный роман Булгакова с Еленой Сергеевной Шиловской, женой крупного военачальника. Необходимо тронуть эти тонкие, с трудом выдерживающие посторонние прикосновения материи потому, что среди прочего и из них ткался тот биографический фон, на котором рождалась пьеса «Адам и Ева».

Сохранился экземпляр парижского издания «Белой гвардии» (1927), где на последнем листе — несколько записей рукой автора. Одна из них, сделанная осенью 1932 года, начинается словами: «Несчастье случилось 25.II.1931 года». Запись датирует, по-видимому, те драматические обстоятельства, о которых нам известно и со слов самой Елены Сергеевны, и от близко знавшей обе семьи Марины Артемьевны Чимишкиан: Шиловский, свидетельствует она, открыв отношения Булгакова с Еленой Сергеевной, приходил к нему на Пироговскую, «грозил пистолетом».

Шиловский предложил свои условия — прекратить встречи, не звонить по телефону; Булгаков и Елена Сергеевна вынуждены были их принять. Отношения с любимой женщиной были прерваны, и, как думал Булгаков, навсегда.

...Год спустя, в письме к Павлу Сер-

геевичу Попову, он писал: «Теперь я уже всякую ночь сморю не вперед, а назад, потому что в будущем для себя я ничего не вижу. В прошлом же я совершил пять роковых ошибок. (...) Но теперь уже делать нечего, ничего не вернешь. Проклинаю я только те два припадка неожиданной, налетевшей как обморок робости, из-за которой я совершил две ошибки из пяти. Оправдание у меня есть — эта робость была случайна — плод утомления. Я устал за годы моей литературной работы. Оправдание есть, но утешения нет».

Мы предполагаем, что два «припадка робости» относятся к сравнительно недавним событиям. Первой из этих двух ошибок Булгаков считал, по-видимому, какие-то свои решающие реплики в телефонном разговоре со Сталиным — здесь сыграла роль внезапность звонка, входившая в расчет собеседника, и продуманная жесткость поставленного вопроса («А может быть, правда пустить Вас за границу? Что, мы Вам очень надоели?»), потребовавшая быстрого и однозначного ответа. Неудовлетворенность своим поведением в разговоре возникла, по-видимому, у Булгакова не сразу (первое впечатление, по свидетельству Е. С. Булгаковой, было близким к эйфории), но становилась все более острой — по мере того, как выяснилась мизерность результатов этого разговора.

Второй ошибкой, казавшейся долгое время роковой, он считал, как можно предполагать, свое согласие не видаться более с Еленой Сергеевной. Хотя это было ее решение (она рассказывала нам, что не решилась уйти, боясь, что муж не отдаст детей), в его собственных расчетах с самим собой, возможно, участвовал каким-то образом пистолет, мысли о силе военного вооруженного человека, и его мужское самолюбие могло мучительно страдать при воспоминании об этом.

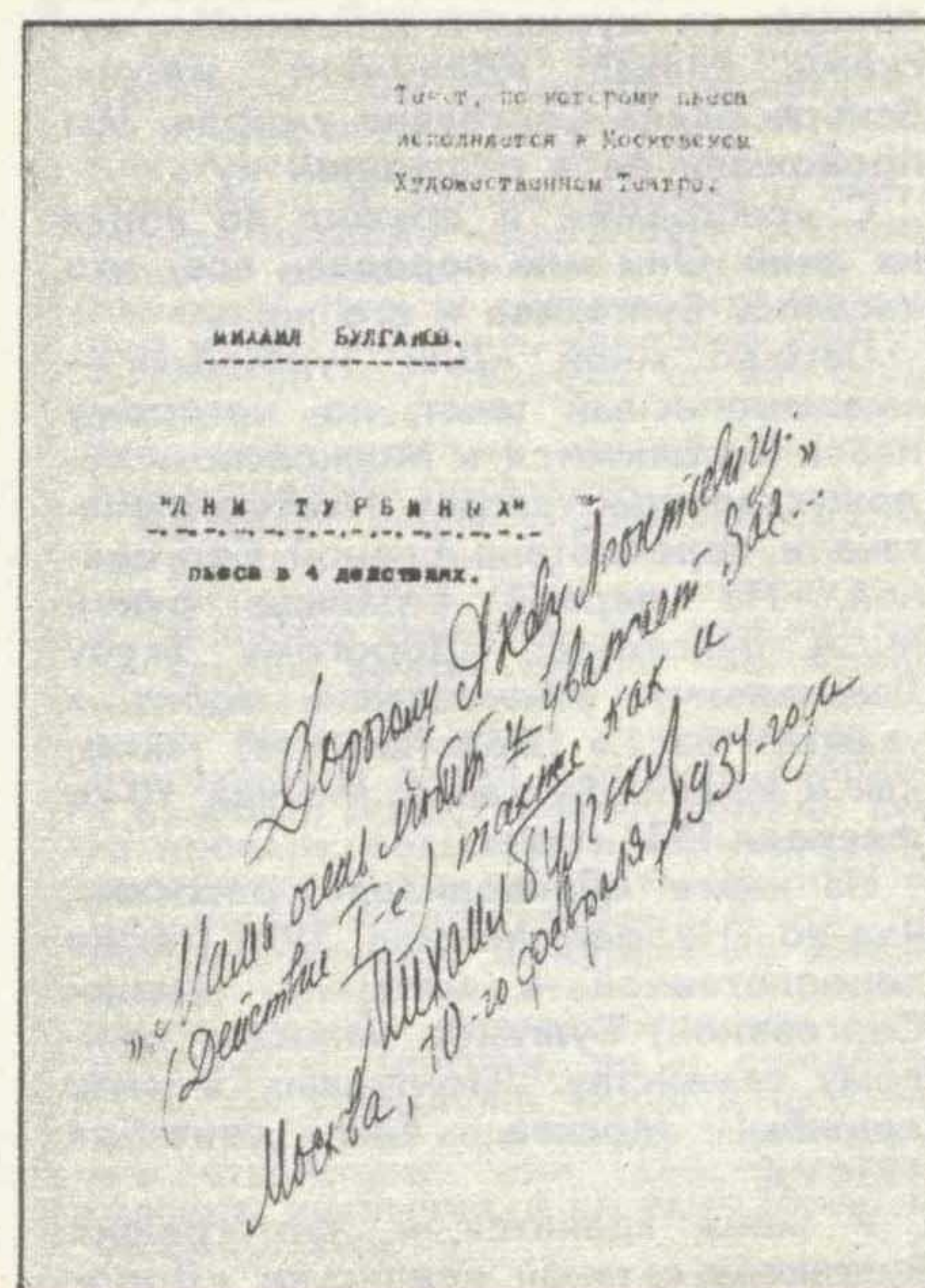
В таком душевном состоянии завершал он театральный сезон 1930—1931 гг., во время которого ни одна из его пьес так и не попала на сцену.

Весной 1931 года он взялся за новое письмо, теперь уже адресованное не Правительству, как письмо от 28 марта 1930 года, а непосредственно «Генеральному секретарю...». В архиве писателя сохранился след одного из первых подступов к письму — набросок с двумя эпиграфами из Некрасова: «О муза! Наша песня спета...», «И музе возвращу я голос, И вновь блаженные часы Ты обрешь, собирая колос С своей несжатой полюсы».

«Около полутора лет прошло с тех



М. А. Булгаков среди актеров Художественного театра.



Автограф М. А. Булгакова Я. Л. Леонтьеву на пьесе «Дни Турбиных». Публикуется впервые.

пор, как я замолк,— писал Булгаков.— Теперь, когда я чувствую себя очень тяжело больным, мне хочется просить Вас стать моим первым читателем...». Далее черновик не продолжен. Очевидно, однако, что, обдумывая письмо, Булгаков мыслил свое жизнеповедение в рамках судеб русских классиков — и соответственное отношение к себе надеялся, по-видимому, внушить своему адресату, рассчитывая на его знание биографии Пушкина. Возможно, впрочем, что именно прозрачная аналогия с Николаем I и заставила Булгакова отказаться от этого варианта начала письма.

Но и новый вариант начинался с классика — с развернутого эпиграфа из Гоголя, состоящего из трех фрагментов «Авторской исповеди»: «Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно и незаметно переходит в сатиру». Первый фрагмент должен был выполнять роль эпиграфа ко всему письму и послужить ключом к художественной позиции автора, второй (его мы не приводим) и третий служили обоснованию конкретной просьбы: «Я знал только то, что еду во все не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России, и добуду любовь к ней вдали от нее. Н. Гоголь». Как прямое продолжение следовали далее первые строки письма: «Я горячо прошу Вас ходатайствовать перед Правительством СССР о направлении меня в заграничный отпуск на время с 1 июля по 1 октября 1931 года».

Сообщая, что после полутора лет моего молчания с неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы, что замыслы эти широки и сильны и я прошу Правительство дать мне возможность их выполнения.

С конца 1930 года я хвораю тяжелой формой нейрастении с признаками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен.

Во мне есть замыслы, но физических сил нет, условий, нужных для воплощения работы, нет никаких.

Причина болезни моей мне отчетливо известна. Жестко и прямо он называл себя далее «единственным литературным валком» на поле рос-

сийской словесности. «Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженный ли волк, он все равно не похож на пу- деля».

Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе». (Тут помогла, по-видимому, подкавав фигуру сравнения, одна из любимейших его книг — «Псовая охота» Н. Реутта, 1846.) «Злобы я не имею, но я очень устал и в конце 1929 года свалился. Ведь и зверь может устать. Зверь заявил, что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии. Умолкает. Это, прямо скажем, мало-душие». В этих словах заключена была его теперешняя оценка своего письма 1930 года, где адресату предлагалась альтернатива — или изгнать автора письма за пределы страны как того, чья продукция стране не нужна, или устроить на службу во МХАТ. Третий и наиболее естественный выход должен был найти, по мысли автора, какою она нам представляется, сам адресат — но эта гордая позиция не была принята. Пойдешь налево — коня потеряешь, пойдешь направо — жизнь потеряешь. Вне литературной работы жизнь для него была потеряна — это и пытался он выразить в новом письме. «Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал — значит был не настоящий».

А если настоящий замолчал — погибнет.

Причина моей болезни — многолетняя затравленность, а потом молчание». Далее шел методический отчет — «За последний год я сделал следующее» — о работе инсценировщика, актера, постановщика, во МХАТе и в других театрах вплоть до театра Санпросвета. «А по ночам стал писать. Но надорвался». Он объяснял с почти болезненной откровенностью: «Сейчас все впечатления мои однообразны, замыслы повиты черным, я отравлен тоской и привычной иронией».

В годы моей писательской работы все граждане беспартийные и партийные внушали и внушили мне, что с того момента, как я написал и выпустил первую строчку и до конца моей жизни, я никогда не увижу других стран.

Если это так — мне закрыт горизонт, у меня отнята высшая писательская школа, я лишен возможности решить для себя громадные вопросы. Привита психология заключенного». Он искал убеждающие слова. «Перед тем как писать Вам, я взвесил все.

Мне нужно видеть свет и, увидев его, вернуться. Ключ в этом».

Сообщая Вам, Иосиф Виссарионович, что я очень серьезно предупреден большими деятелями искусства, ездившими за границу, что там мне оставаться невозможно».

Телефонный разговор 1930 года известен по позднейшей дневниковой записи Елены Сергеевны. После совета подать заявление во МХАТ шел следующий обмен репликами: «Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами. — Да, да! Мне очень нужно с вами поговорить. — Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю Вам всего хорошего». Но встречи не было.

Конец нового письма, писавшегося спустя год, связан с этим невыполненным обещанием — и надеждой договорить невысказанное в телефонном разговоре: «...заканчивая письмо, хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти. Вы сказали: «Может быть, Вам, действительно, нужно ехать за границу?»

Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР».

Совпадает ли полностью текст письма, написанного 30 мая 1931 года и отправленного адресату, с тем, который мы цитируем по авторским машинописным копиям, сохранившимся в архиве Булгакова, или был еще какой-то окончательный вариант? Ответить на этот вопрос можно будет лишь тогда, когда письма Булгакова 1930 и 1931 года будут обнаружены в архиве Сталина и подвергнуты текстологическому анализу. Но так или иначе, в архиве Булгакова хранится его собственный текст, отразивший его собственные размышления и надежды. Они помогают нам понять, что новая пьеса Булгакова рождалась в кругу нескольких сильнейших эмоций, владевших им летом 1931 года.

Это был гнет воспоминаний о погибшей любви, настойчивая мысль о военном человеке, отнявшем его возлюбленную.

Это было мучительное ощущение недоговоренности и более того — оставшееся от разговора, но еще, возможно, не осознанное до конца ощущение «роковой ошибки».

Это было и ожидание ответа на письмо, с которым связывались теперь все его надежды, а также, возможно, и ожидание обещанной еще в прошлом году встречи с адресатом. И вместе с тем постепенно нарастало понимание того факта, с которым он внутренне никак не мог примириться, — что ни того, ни другого уже не будет.

29 июня 1931 г. Булгаков пишет письмо В. В. Вересаеву, к которому относился с особым доверием, и жалует ему на тяжелое душевное состояние. Описывая тяжелый для него год, он заключал: «Кончилось все это серьезно: болен я стал, Викентий Викентьевич». И признавался, что закрадывается уже «ядовитая мысль — уж не совершил ли я, в самом деле, свой круг?» В этом же письме — первое упоминание о новой пьесе: «А тут чудо из Ленинграда — один театр мне пьесу заказал. Делаю последние усилия встать на ноги и показать, что фантазия не иссякла. А может иссякла. Но какая тема дана, Викентий Викентьевич! Хочется безумно Вам рассказать! Когда можно к Вам прийти?». В следующем письме (25 июля) он мучительно сожалеет о том, что «не состоялся» его «разговор с генсеком».

«Милый и дорогой Михаил Афанасьевич! — писал Вересаев 17 июля

из Звенигорода. — Вчера приехал из Москвы, где пробыл два дня и где нашел Ваше письмо от 29/VI <...>. То, что Вы пишете, очень интересно, и мне жаль, что нам не удалось поведаться». 5 июня (?) 1931 года Булгаков заключает договор с ленинградским Госнардомом на пьесу «на тему о будущей войне» — с обязательством сдать ее не позднее 1 ноября 1931 года, а 8 июля — аналогичный договор с театром имени Вахтангова.

Можно предполагать, что по крайней мере однажды, в середине 1920-х годов, Булгаков уже подходил к подобному замыслу — он даже брал аванс под обещание составить конспект романа «Планета-победительница»... Судя по названию, предполагался приключенческий роман, подобный, скажем, роману Вс. Иванова и В. Шкловского «Иприт» (1925), описывающему будущую газовую войну Советской России с европейской коалицией, или уэллсовским романам, изображавшим межпланетные войны.

Еще в середине июня он получил телеграмму от Натальи Алексеевны Векстерн, с которой в последние годы установились близкие дружеские отношения, — она приглашала Булгаковых в Зубцов (место слияния Волги с Вазузой) на летний отдых. 1 июля он писал ей: «Постараюсь в июле, может быть, в 10-х числах выбраться в Зубцов... План мой: сидеть во флигеле одному и писать, наслаждаясь высокой литературной беседой с Вами. Вне писания буду вести голый образ жизни: халат, туфли, спать, есть».

В это время в Москве был Е. И. Замятин, приехавший хлопотать об отъезде за границу. К тому времени его уже связывали с Булгаковым дружеские отношения, и 9 июля он писал в Ленинград жене, приглашая ее в Москву: «устроить жилье нетрудно, хотя бы у Михаила Афанасьевича (он сейчас один) или у вахтанговцев». Думаем, что Замятин был одним из тех немногих, с кем обсуждал Булгаков в то лето и судьбу своего недавнего письма, и замысел новой пьесы. Соположение этой пьесы с драматургией Замятина — особая и интересная тема.

9 июля Булгаков телеграфирует Н. А. Векстерн: «Приеду двенадцатого». В членском билете ВСЕРАБИСа, сохранившемся в архиве писателя, штамп, поставленный в г. Зубцово, датирован 14 июля.

Вполне возможно, что, именно приехав на Волгу, и начал он вплотную работать над пьесой.

В рукописях пьесы (обрабатывая в 1970-е годы архив Булгакова, мы поместили их под шифрами ф. 562, 12.8—9; 67. 20) первая авторская дата — 8 августа 1931 — отмечает работу над 187-й страницей рукописного текста первой редакции.

По-видимому, в разгар лета он пробыл на Волге не более десяти дней. Работа шла по-прежнему в состоянии угнетенном и мрачном. Его просьба, обращенная к Сталину, осталась без ответа. В июльских письмах к Вересаеву он вновь говорил о неуспехе своего письма, о том, что для того, чтобы описать свою ситуацию, ему нужно было бы исписать сорок страниц или же посылать телеграмму — «Погибаю смените мои впечатления на три месяца вернусь». Он не мог смириться с тем, что его словам о возвращении, по-видимому, не верили, и просил у Вересаева совета в ситуации, которая была для него почти столь же тягостной, как год назад. 12 августа 1931 г. Вересаев писал ему: «Дорогой Михаил Афанасьевич! Получил Ваше письмо — и не из слов Ваших, а из самого письма почувствовал, как Вы тяжело больны и как у Вас все смято в душе. — Совет? Я не понял, по поводу чего совет. Но продолжаю думать, что надежда на загр<аничный> отпуск — надежда совершенно безумная. Да, вот именно — «кто поверит?». Из двух теорий

нал. Я ему предложила целиком перепечатать роман. Он отказался и, показав журнал с вклеенными кусками, сказал: «Документ эпохи». Вскоре Елена Сергеевна умерла. Мы провожали ее в последний путь.

С «сестрами» я дружил до конца их дней. Они мне передали все, что касалось Булгакова и его жены.

Передо мной «Дни Турбиных» — «машинописный текст, по которому пьеса исполняется в Московском Художественном театре». Пьеса отпечатана и переплетена Еленой Сергеевной. На первой странице рукой М. А. Булгакова: «Дорогому Якову Леонтьевичу: «Мама очень любит и уважает Вас...» (Действие I-е) также, как и Михаил Булгаков. Москва, 10-го февраля 1934 года».

На книге «Дьяволиада», рассказы, изд-во «Недра», Москва, 1925 (также переплетенной в материю Еленой Сергеевной) Булгаков написал: «Милому семейству Леонтьевых в знак дружбы! Москва, 4-го сентября 1934 г.»

У меня хранится и фотография Булгакова с такой надписью: «Доро-

гому другу Якову Леонтьевичу Леонтьеву. Любящий М. Булгаков. I.XI.37 г.» 6 января 1940 г. Елена Сергеевна писала: «Дорогие сестры, поздравляю Вас со множеством прекрасных вещей: с днем ангела Женички, с днем рождения — наступающим, Якова Леонтьевича и, наконец с сочельником. Целую Вас нежно и крепко. Примите, пожалуйста, эти маленькие подарки от любящей Вас Люси». За два месяца до смерти Михаила Афанасьевича, когда он находился в безнадёжном положении и очень мучился, Елена Сергеевна нашла мужество и время вспомнить и поздравить своих друзей. В этой записке ни слова о Михаиле Афанасьевиче, так как Леонтьевы — Арендт постоянно бывали и дежурили у кровати больного.

Семьи Леонтьевых — Арендт и Булгаковых сохранили и пронесли нежную дружбу до конца своих дней, помогая и поддерживая друг друга. И если когда-нибудь в Москве будет музей Булгакова, то надеюсь, что для реликвий, о которых рассказано, найдется там место.

я больше присоединяюсь ко второй. И думаю, рассуждение там такое: «писал, что погибает в нужде, что готов быть даже театральным плотником,— ну, вот, устроили, получает чуть не парт-максимум. Ну, а насчет всего остального — извините!»

Трудно человеку в Вашем положении давать советы, и все-таки мне настоятельно хочется Вам дать один. Скажем, объявили человеку: «у вас не может быть детей»...

И далее, скорее как врач врачу, чем как писатель писателю, Вересаев пояснил, что с его точки зрения «писательская потребность для художника» не слабее физиологических: «И разве может он, не изломав всего своего существа, сказать себе: «меня не печатают — бросаю писать». Это глубокая ошибка». Он уверял Булгакова: «для меня совершенно несомненно, что одна из причин вашей тяжелой душевной угнетенности — в этом воздержании от писания».

4 августа В. Е. Вольф пишет Булгакову, что 20-го вернется в Ленинград, сговорится о его приезде «и будем запоем читать пьесу».

22 августа рукописная редакция пьесы была закончена.

Переговоры о пьесе Булгаков ведет и со Станиславским — 30 августа он объясняется в письме относительно того, почему не принес новую пьесу в свой театр, — в договорах с МХАТом всегда присутствовал пункт о том, что в случае запрещения пьесы автор обязан вернуть аванс: «Я вечно под угрозой запрещения. Немыслимый пункт! <...>. Повторяю: железная необходимость руководит теперь моими договорами».

Е. М. Шереметьева рассказывает в своих воспоминаниях, как Булгаков приехал в Ленинград читать пьесу и как ее слушали четверо представителей театра: «Довольно точно помнится заключительная фраза, обращенная к Адаму: «Входите, вас ждет генеральный секретарь» (по понятным причинам фраза запомнилась точнее, чем имя персонажа, которому она была адресована). Припомнит она и дальше: «К великому общему огорчению, ставить ее театр не мог. Кажется, меньше всех был расстроен автор». Булгаков умел владеть собой. В нашей беседе 1974 года Е. М. Шереметьева дополнила эти воспоминания: «После чтения Вольф — он был тогда единственный партийный в руководстве театра — сказал нам: «Ее нельзя ставить — из нее следует, что революцию сделала интеллигенция!»

Л. Е. Белозерская, вспоминая о судьбе пьесы (в рукописи многие страницы заполнены ее рукой — под диктовку автора), пишет: «М. А. читал пьесу в Театре имени Вахтангова в том же году. Вахтанговцы, большие дипломаты, пригласили на чтение Алксниса, начальника военно-воздушных сил Союза... Он сказал, что ставить эту пьесу нельзя, так как по ходу действия погибает Ленинград».

Конечно, при желании можно было подойти к этому произведению с другими критериями. Во-первых, изменить название города, а во-вторых, не забывать, что это фантастика, которая создает и губит — на то она и фантастика — целые миры, целые планеты...»¹.

Сегодня мы могли бы сказать, что гениальное предвидение не только того, что будет создано оружие невиданной силы (это приходило в голову не ему одному), но и того, что оно потребует как от ученых, так и от правительств нового образа действий, — осталось не понятым современниками писателя.

Отношения с театром, впрочем, были выяснены далеко не сразу: 23 ноября 1931 года Булгаков сообщил В. Е. Вольфу, что отправил ему «Мертвые души» (свою инсценировку) и пьесу «Мольер» и что вскоре высы-

лает «Адама и Еву». «Будьте добры, ускорьте ответ относительно «Мольера», а потом и «Адама и Евы». 2 октября 1931 года Булгаков сообщил Бакинскому Рабочему театру о согласии выслать пьесу (после получения денег за право постановки) и предупредил: «Сообщаю, что пьеса «Адам и Ева» цензуру не проходила. Но и эти отношения оборвались».

Размышления над социальными структурами, над взаимоотношениями внутри общества, претендующего на оптимальное устройство, над основаниями и границами власти одного человека над судьбами и жизнями других людей — не очень частые, но немаловажные темы драматургии 1920-х годов. Булгакову могли быть известны пьесы Льва Лунца «Вне закона» и «Город Правды», сосредоточенные на этой проблематике. Летом 1931 года в Москву приехал известный итальянский исследователь и переводчик русской литературы Эторе Ло Гатто; он познакомился с Замятиным и Булгаковым, роман которого «Белая гвардия» незадолго до этого перевел (в архиве Булгакова хранится это издание с надписью переводчика). Одной из тем бесед его с Замятиным было творчество Л. Лунца; в беседе этой мог участвовать и Булгаков. Построение отвлеченных, гипотетических ситуаций, подобных ситуации в пьесе «Адам и Ева», где социальные структуры сводятся до минимальной величины — для наибольшей простоты и наглядности художественного анализа, — было опробовано в пьесах рано умершего талантливого писателя (как картины гибнущего города нарисованы в его киносценарии «Восстание вещей»). Существенно, во всяком случае, что пьеса «Адам и Ева» осталась в творчестве Булгакова почти единственным образцом такой драматургической поэтики. «Почти» — поскольку некоторая близость к этому обнаженному выявлению социальных отношений видна в картинах будущего в пьесе «Блаженство». Она была задумана и начата в 1929 году. Наброски эти остались неизвестны — автор уничтожил их, по признанию в письме к правительству 1930 года, в момент работы над письмом. Но будучи продолженной в 1933—1934 годах, пьеса обнаружила близость самих героев и их соположения к «Адаму и Еве»: Маркизов и Жорж Милославский, Ева и Аврора, Дараган и Саввич, Ефросимов и Рейн, в какой-то степени Пончик и Бунша; даже Адам отчасти воспроизведен в Радаманове, «народном комиссаре изобретений», человеке с добрыми задатками, но уверовавшем в правомерность безраздельной власти государственности над творческой личностью. Самоповторения — структурная часть художественного мира Булгакова. Фиксируя их, нельзя, однако, упускать из виду и того обстоятельства, что большинство его произведений оставались не опубликованными при жизни автора и это увеличивало возможность появления таких повторений.

Конец 1920-х — начало 1930-х годов стал для Булгакова временем попыток драматургического решения ряда актуальных социальных вопросов.

Одним из важнейших был вопрос о том, какое место должны занять идеологические построения в человеческом существовании. Результаты их влияния в том случае, когда они начинают целиком определять поведение людей, не корректруемые иными ценностными отношениями, показаны в «Адаме и Еве» наиболее детально. Подавляемые ради «идеи» вечные жизненные начала неизбежно приводят к тому, что «силовая личность», «кристиально чистый», «преданный идее» и т. п. человек оказывается способным «ликвидировать» соперника под прикрытием борьбы за идеи. Жесткие идеологические системы не должны приобретать тотальной власти над

существованием отдельных людей.

Для Ефросимова даже жизнь собаки больше соответствует «естественным» началам, чем существование человека, обуреваемого идеями, которые становятся убийственными для других людей. Так в пьесе вновь коротко проигрывалась тема повести «Собачье сердце» (1925) — «милейший пес», превратившись в человека с «идеями», внушенной ему другими людьми, становится опасен для окружающих. Автор пьесы вместе с наиболее близкими ему героями напряженно и отчужденно вслушивается в тот язык, которым говорит уже не мутант Шариков, а сама вооруженная идея. «Почему ваш аппарат не был вовремя сдан государству? Ефросимов (взяло). Не понимаю вопроса. Что значит: вовремя?»; «Мы найдем человеческий материал!.. А я не хочу никакого человеческого материала, я хочу просто людей...»; «Обрадую тебя, профессор: я расстрелял... Меня не радует, что ты кого-то расстрелял». Язык этот разлагается в пьесе на составные части, развиваясь, лишаясь, таким образом, власти над умами, основанной во многом на иллюзии его цельности и равнопонятности для всех. В пьесе оспорена допустимость и оправданность физической расправы одного человека над другими из-за несовместимости воззрений; первый и последний раз в творчестве писателя по необходимости бегло выразилось его отношение к той «сатанинской гордости» и легкости, с которой Дараган обращает живого человека в «дело».

Мы отмечали в свое время близость проблематики пьесы Булгакова и пьес Олеси «Заговор чувств» (1927—1929) и особенно «Список благодетелей»² — она была поставлена в конце мая 1931 года и стала, как мы предполагаем, объектом полемики Булгакова в «Адаме и Еве». Не останавливаясь здесь на этом подробно, отметим лишь два пункта. Во-первых, четкие демаркационные линии между «нашим» и «чужим», с болезненным усилием проведенные Олешей к концу пьесы, у Булгакова сделаны атрибутом мировоззрения только Дарагана и Адама и подвергнуты острому сомнению. Во-вторых, место интеллигента в современном обществе, его право на собственное решение важнейших жизненных вопросов утверждается, в противовес Олеше, с подчеркнутой уверенностью и твердостью. Фигура литератора Пончика-Непобеды, заявляющего «мы... интеллигенция», таскающего в кармане нестерпевшую рукопись своего романа, должна была отделить приспособленца, не имеющего убеждений, от тех, кого причислял к интеллигенции сам автор пьесы.

В тот год, когда писалась пьеса, Булгаков несколько раз подступал к оставленному им и сожженному в 1930 году роману. Именно теперь появляются новые герои — Мастер (еще не имеющий этого именования) и Маргарита. Но в том году работа не двинулась дальше набросков; причины этого достаточно ясно изложены в письме к Сталину 30 мая 1931 года. Пунктирным наброском этой новой линии романа стали персонажи пьесы — Ефросимов и Ева. С осени следующего года, после того как произошла встреча с Еленой Сергеевной (после 15 месяцев разлуки), приведшая их к решению соединить свои судьбы, роман был начат заново. Пьеса же осталась лежать в архиве писателя.

Последний документ, заключающий ее прижизненную историю, — недатированная телеграмма Красного театра: «Адам и Ева свободны».

² Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова. Материалы для творческой биографии писателя. — Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 37, М., 1976, с. 99.



КАК ЖИВОЙ С ЖИВЫМИ...

Фирма «Мелодия» в последние годы работает интересно, пробует себя в «разных жанрах», совершая порой настоящие открытия, но такого альбома у нас еще не было. Булгаков. Живой Булгаков. Поразительные по силе емкости, энергии языка рассказы В. Катаева, В. Каверина, П. Маркова, С. Ермолинского, Р. Симонова, В. Топоркова, И. Раабен, М. Прудкина, В. Виленина... Сцены из «Дней Турбиных», великого спектакля Московского Художественного театра, фрагменты из «Мастера и Маргариты» в исполнении... нет, это не верное слово, скорее — в передаче Елены Сергеевны Булгаковой...

Два часа рядом с Булгаковым, и совершенно фантастическое ощущение, что перед тобой открылся удивительнейший мир. Альбом сделан таким образом, что мы начинаем понимать психологию творчества выдающегося писателя — после рассказа И. Раабен о раннем периоде жизни молодого Булгакова совершенно иначе воспринимаются многие страницы «Мастера и Маргариты», после рассказа М. Прудкина и П. Маркова чуть по-другому звучат сцены из «Дней Турбиных». Они не просто дополняют друг друга, нет, это еще не все, они создают друг друга, их внутреннее единство поразительно. Собственно говоря, так оно, наверное, и должно быть: ведь все это один человек — Булгаков.

Составить цельный образ человека после его ухода из жизни — задача мучительная и трудновыполнимая.

Но вот этот альбом: слушаешь его страницы, вдруг является живой портрет Булгакова. Он сделан точной кистью. Очерчен просто и ясно, без полутонув. Особую ценность представляют слова Константина Симонова. Он комментирует воспоминания очевидцев, но его комментарии, как и многое у Симонова, не укладываются в стереотип, выходит за рамки просто комментария.

И совсем неожиданно выступает на страницах альбома Павел Марков, один из основоположников современного театроведения, который в «Театральном романе» выведен под именем Миши Панина.

Вот так, в полном смысле слова по крупницам, шаг за шагом воссоздаются жизнь, образ и круг мыслей Михаила Афанасьевича Булгакова. Д. Чуковский и Л. Шиллов, авторы и составители альбома «Булгаков в воспоминаниях современников», сделали это первыми. Нельзя сказать, что их альбом может заменить хорошую книгу о Булгакове, нет, конечно, но вот существенно дополнить ее — несомненно. Это действительно живой памятник выдающемуся писателю.

Не знаю, какой тираж альбома, он не указан. Не знаю, планируется ли его переиздание. Но в магазинах, как и следовало ожидать, его уже нет, хотя альбом вышел только что. Архивные записи 1946—1978 гг., а также записи Центрального телевидения и Всесоюзного радио, которые собраны в альбоме, представляют, помимо всего прочего, большую историческую и художественную ценность. Многие из них мы услышали впервые. А это значит, что альбом, выпущенный «Мелодией», нужен не только широкому кругу людей, интересующихся литературой и театром, но и специалистам. Он серьезный вклад в булгаковистику, и мы еще не раз вернемся к его страницам: они действительно сделаны необычно, и ни один голос на них не похож.

А. ПАХОМОВА

¹ Указ. соч., с. 121.

ВАНЕССА РЕДГРЕЙВ: МОНОЛОГ О САМОМ ГЛАВНОМ

Когда я начала работать над ролью Айседоры Дункан и стала подбирать материал, то впервые получила кое-какие начальные знания об Октябрьской революции. Разумеется, я прочитала работу Дункан «Моя жизнь», а также ряд книг о ее отношениях с Есениным. В автобиографической книге она, в частности, писала о своем приезде в Россию: «Да, я еду сюда, в новый мир, я покидаю мир старый».

И это поразило меня. Я чувствовала, что как балерина она обладала способностями произвести революционные изменения в мире танца. В книге «Моя жизнь» знаменитая балерина пишет о том, как она приехала в Петербург в 1905 году — на следующий день после того, как войска расстреляли рабочих, пришедших с петицией к царю на Дворцовую площадь. Поезд Айседоры прибыл в полночь, и она случайно увидела похоронную процессию — рабочие несли гробы с телами убитых накануне товарищей. В автобиографии Дункан пишет, какое громадное потрясение испытала она при виде этой сцены. Айседора сказала себе, что ее предназначение как актрисы с той минуты изменилось. Все, что она имела тогда — жизнь, танец, — все она решила посвятить рабочим людям, угнетенным.

Конечно, мысли этой женщины пронизаны такой убежденностью, которая может родиться только в особых жизненных испытаниях, зачастую ожесточающих человека, но меня привлекала способность этой женщины к состраданию.

Когда актриса приехала в Россию после революции, то заметила, как начали появляться люди, искавшие себе привилегий. Дункан увидела зарождавшийся бюрократизм и внутри, и вне партии. Она была этим чрезвычайно взволнована. Балерина беседовала с Луначарским и спросила его: почему подобное происходит? Луначарский не воспринял ее озабоченность серьезно и обратил все в шутку. Это удивило и меня тоже.

Когда Айседора поехала в Соединенные Штаты с Есениным, она хотела рассказать американской публике с помощью своего искусства об Октябрьской революции, о своей поддержке России, об освобожденном народе, о том, что, по ее мнению, события в России должны способствовать освобождению угнетенных народов во всем мире.

И она говорила обо всем этом и своим танцем, и во время публичных выступлений. Ее, разумеется, преследовали. И в Бостоне, и в Филадельфии пресса ругала актрису на чем свет стоит. Ее искусство было революционно, и она, по сути, сама стала

революционером. Уже в идейном смысле.

Конечно, я не понимала многого, но, работая над образом Айседоры, проходя дорогами ее исканий, я все больше и больше проникалась идеями революции.

Быть может, поэтому мне представляются чрезвычайно важными революционные решения, принятые на XXVII съезде КПСС, на последних Пленумах ЦК партии, а также на съездах писателей и кинематографистов. Выборы рабочими руководителей предприятий, самофинансирование, а также организация такого порядка, при котором руководящие органы были бы подотчетны рядовым людям, не игнорировали их, как случалось ранее, — все это великие инициативы.

Меня часто спрашивают, почему я так близко принимаю к сердцу события в России. Я отвечаю — по двум причинам.

Мой отец (он умер в 1985 году) принадлежал к тому поколению, которое боролось за социализм, было предано его принципам. В конце 20-х и начале 30-х годов отец, как и многие другие английские актеры, писатели, художники, устремил свой взор на Советский Союз. Он полагал, что международный кризис и, в частности, кризис в Великобритании могут быть разрешены лишь социализмом.

Однако вопросы, которые мучили его тогда, отменялись лидерами Компартии Великобритании. Над отцом посмеивались, а он продолжал метаться в поисках ответов и очень скоро оказался в тупике. Отец, как он пишет в своей недавно изданной автобиографии, не видел никого в тогдашней Великобритании, кто мог бы вести за собой людей, разочаровавшихся в существующем строе; словом, он отступил назад.

Однако, если бы ему тогда разъяснили, что главный враг рабочих капиталистических стран находится не во вне, а внутри этих государств, если бы ему объяснили спокойно, выдержанно, он бы смог миновать тот страшный душевный кризис, который его все больше и больше затягивал.

Другими словами, меня охватывает волнение, когда я думаю об СССР, не только потому, что я прочитала много книг по истории вашей страны и хорошо подготовлена теоретически, но и потому, что мой отец существовавшим образом переменялся к концу своей жизни. Он, конечно же, оставался блестящим артистом, но становился все печальнее и тише...

Меня всегда удивляло, что, когда я пыталась говорить с отцом о социализме в СССР и обсуждать с ним мои политические взгляды на революционный процесс и мою политическую деятельность, он вдруг замолкал, и не раз я видела слезы в его глазах. Это было задолго до болезни, но уже тогда он не мог за-

ставить себя говорить со мной, и я чувствовала, что, возможно, огорчаю его. Но я не могла понять — чем?!

И только три последних года его жизни мы могли свободно обсуждать многое из того, что саднило душу. Он к тому времени уже написал книгу и впервые чувствовал себя достаточно хорошо.

Когда я мысленно возвращаюсь к тому далекому периоду истории — к 30-м годам, — я думаю, что уроки того времени крайне важны для успеха перестройки в СССР сегодня.

Я слежу внимательно за советской прессой. Несколько недель назад я прочитала в одном из ваших изданий статью, в которой говорилось, что если бюрократизм, все те консервативные силы, сдерживающие общество, не будут разоблачены, то перестройка может существенно задержаться. И потому полное выполнение уже принятых Советским правительством и партией решений — решений огромной, на мой взгляд, творческой силы — жизненно необходимо не только для Советского Союза, но и для мирового рабочего класса. Я знаю, что рабочий класс — единственный революционный класс, который оказался способным совершить революцию в Октябре под руководством большевиков.

Рабочий класс и по сей день не утратил этой своей внутренней сути.

Я, правда, была рождена в семье не рабочего, но служащего, однако интересы служащих неотделимы от интересов пролетариата, и я как член моего профсоюза выступаю именно с этих позиций. Между прочим, в Великобритании я вовсе не единственный человек с таким, я бы сказала, ревностным отношением к перестройке в СССР.

Что же заставляет меня с такой надеждой смотреть на страны социализма? Что вообще определило мое мировоззрение? Сейчас я постараюсь ответить очень конкретно на эти вопросы.

Мои политические взгляды сложились еще много лет назад под влиянием идей Ленина, других теоретиков русской революции. Я пришла к ленинизму сама.

Участницей антивоенного движения я стала в молодости. Это было критическое время — Карибский кризис. А от антивоенного движения я двинулась дальше — к политической деятельности. У меня и по сей день часто возникают вопросы. И я мучаюсь в поисках ответов. Ведь однажды, еще в юности, я почувствовала себя в ответе за судьбы мира и еще тогда подумала, что должна приложить все силы для того, чтобы найти реальную политическую дорогу к предотвращению ядерной войны.

Постепенно я поняла, что антивоенное движение не могло дать ответы на все волновавшие меня вопросы, и

моя политическая дорога повернула к моему брату, который был членом Социалистической рабочей лиги. Я обнаружила, что мои вопросы могут быть проанализированы; брат давал мне книги, в которых я могла найти связь между Октябрьской революцией и мировой ситуацией. Я поняла, что русская революция вынуждена была себя защищать от врагов. Однако именно тогда я подробно узнала о Сталине. Не как о личности, а как о явлении, его истинных корнях. И о корнях бюрократии. Впервые я увидела всю картину целиком, а не ее фрагменты. Впервые я увидела историю не как противостояние Хороших и Плохих, а как бесконечную перспективу из прошлого в будущее. Вот тогда-то я и пришла по-настоящему к Ленину, к его теоретическому наследию. Пришла осознанно.

Сегодня ленинское учение не теряет своей актуальности. Ни в области политики, ни идеологии, ни даже экономики.

Великобритания (да и Соединенные Штаты) переживает сейчас очень серьезный экономический и политический спад. Крупнейшие американские банки не имеют сегодня достаточно средств, чтобы выступить в роли кредиторов, если возникнет какая-либо критическая ситуация.

Империализм 50-летней давности располагал подобного рода кредиторами. Или же умел таковых находить. Вот пример. После краха на Уолл-стрите в 1929 году американские и английские банки переложили последствия, бремя финансового кризиса на немцев. И это во многом способствовало повороту немецкого капитала к фашизму, разгону профсоюзов и подавлению всяческой оппозиции, стремлению получить 100% прибыли и созданию рабского труда, без которого невозможно было приобретать такие баснословные барыши. Именно экономическая ситуация легла, на мой взгляд, в основу создания концентрационных лагерей в Германии.

Сейчас же положение таково, что кредиторов нет, а Америка превратилась из крупнейшего заемщика в мирового должника № 1. Впрочем, это общеизвестный факт. Банки Америки и Англии ведут ныне ожесточенную финансовую войну с японскими. И борьба эта день ото дня лишь обостряется. Свое экономическое бремя ведущие капиталистические страны Запада и Япония стремятся переложить на развивающиеся страны, где в результате уровень жизни резко падает. И процессам этим не видно конца. Между тем они таят в себе призраки будущей катастрофы.

Почти всегда и повсюду экономический кризис сопровождается и по-

См. стр. 17.

ВАНЕССА РЕДГРЕЙВ, ВЫДАЮЩАЯСЯ АНГЛИЙСКАЯ КИНОАКТРИСА, РОДИЛАСЬ В СЕМЬЕ БРИТАНСКОГО АКТЕРА МАЙКЛА РЕДГРЕЙВА. ДО ПРИХОДА В КИНО В 1958 ГОДУ ВАНЕССА ОКОНЧИЛА БАЛЕТНУЮ И ДРАМАТИЧЕСКУЮ ШКОЛЫ В ЛОНДОНЕ, УСПЕЛА СЫГРАТЬ НЕМАЛО РОЛЕЙ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ. НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ КИНОКАРТИНЫ С ЕЕ УЧАСТИЕМ: «ПОД МАСКОЙ», «БЛОУ-АП», «АТАКА ЛЕГКОЙ БРИГАДЫ», «АЙСЕДОРА», «ДЬЯВОЛЫ», «ДЖУЛИЯ», «ПОПАЛА В ЧЕРНЫЕ СПИСКИ», «КАМЕЛОТ», «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА», «МАРИЯ, КОРОЛЕВА ШОТЛАНДИИ», «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ», «ВНЕ СЕЗОНА» И ДРУГИЕ.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЭТИМ ЛЕТОМ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ВАНЕССА РЕДГРЕЙВ ПОЗВОНИЛА В «ОГОНЕК» И ПОПРОСИЛА О ВСТРЕЧЕ С КОЛЛЕКТИВОМ РЕДАКЦИИ.

МЫ С РАДОСТЬЮ ПРИГЛАСИЛИ ЗНАМЕНИТУЮ КИНОАКТРИСУ К НАМ В ЖУРНАЛ. СОСТОЯЛСЯ ОЧЕНЬ ИСКРЕННИЙ РАЗГОВОР.

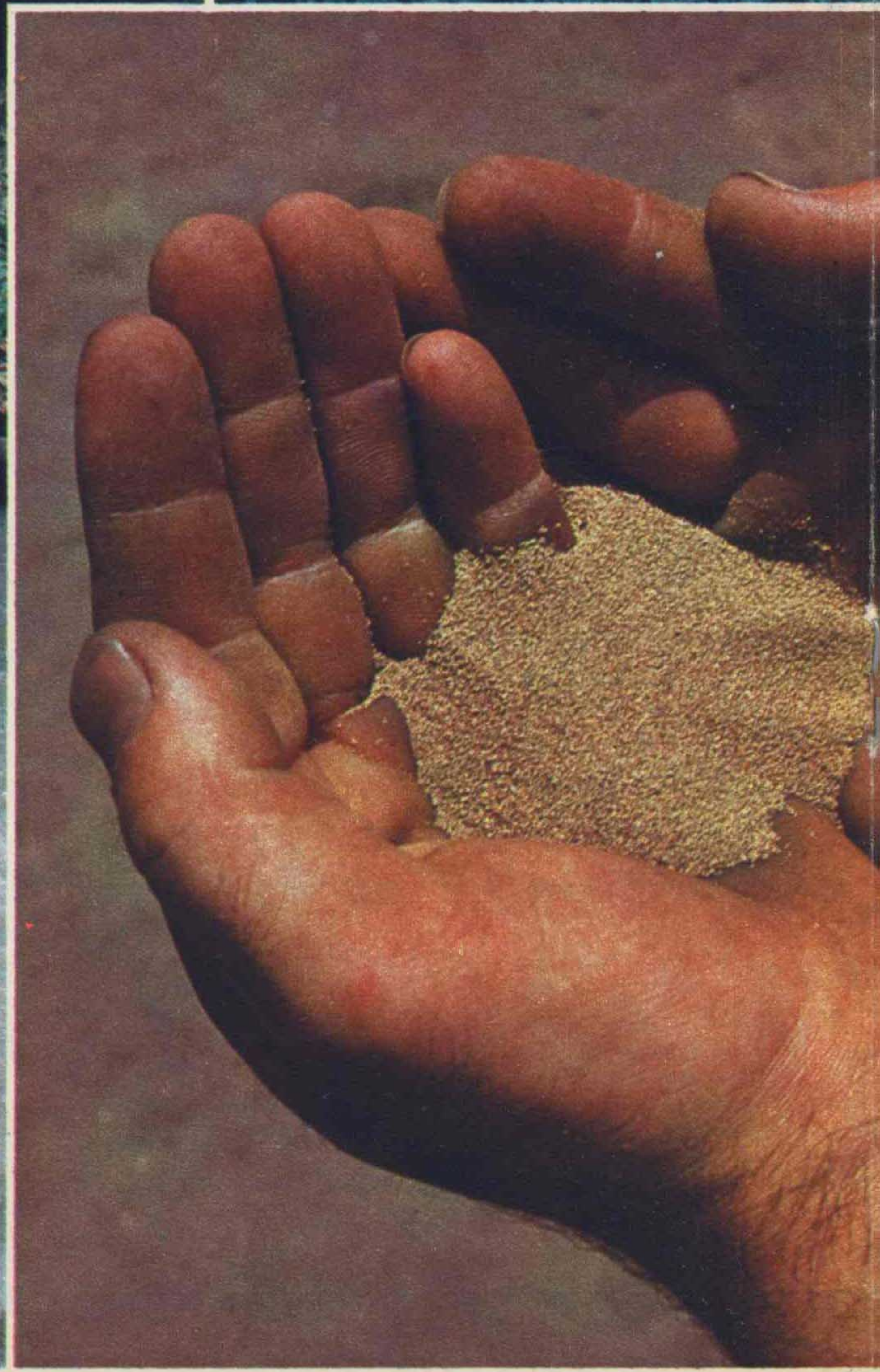
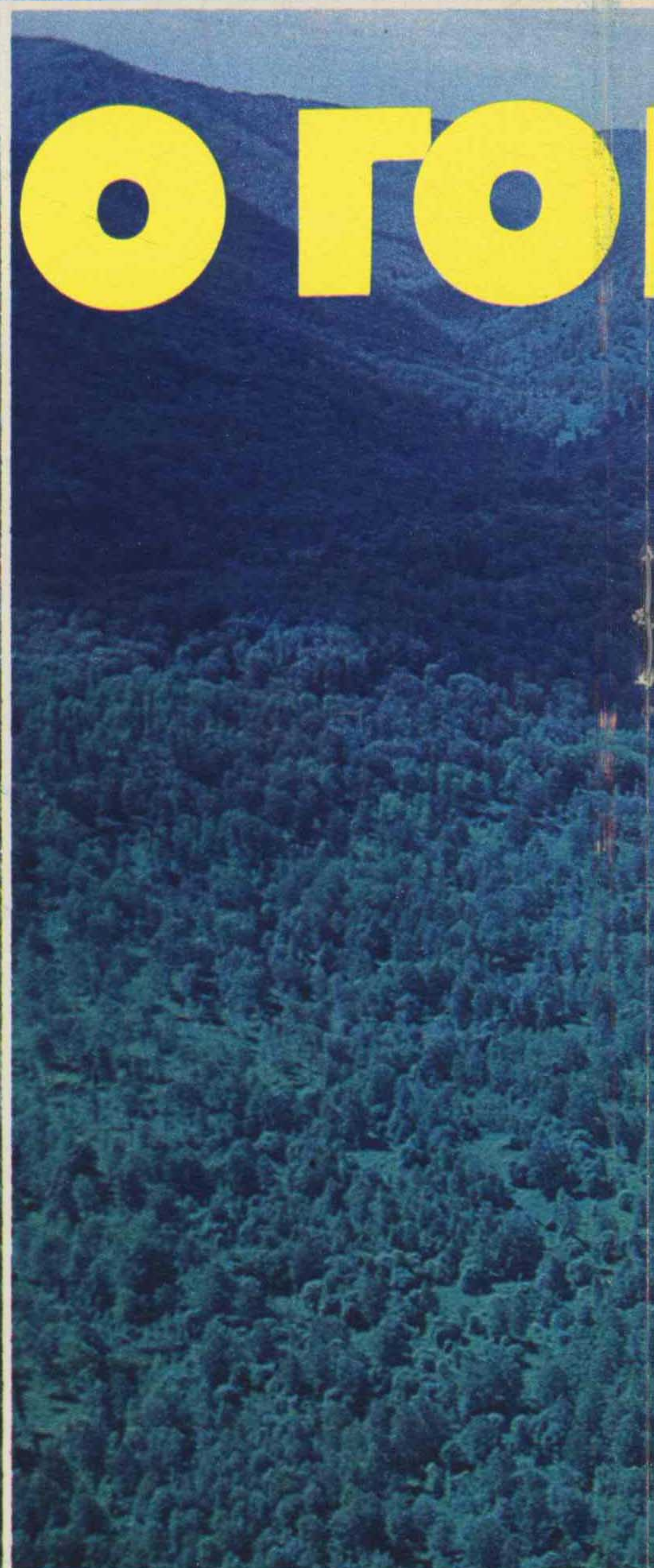
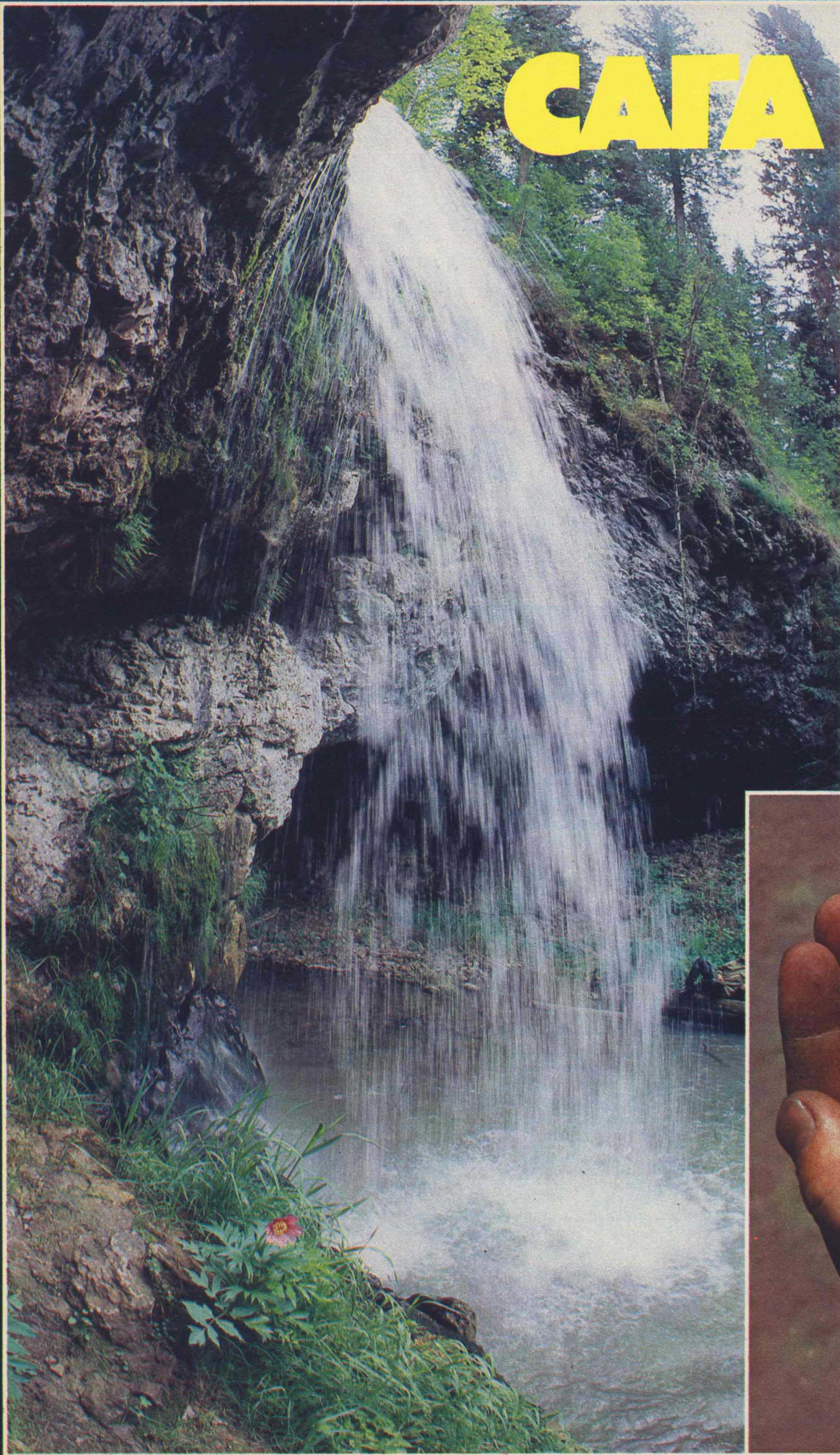
МЫ БЫЛИ ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ, УВИДЕВ ПЕРЕД СОБОЙ НЕ СТОЛЬКО КИНОЗВЕЗДУ, СКОЛЬКО ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, ДЛЯ КОТОРОГО ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА НЕОТДЕЛИМЫ ОТ ТОГО, ЧТО ЛЮДИ ПРИВЫКЛИ НАЗЫВАТЬ «ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ».



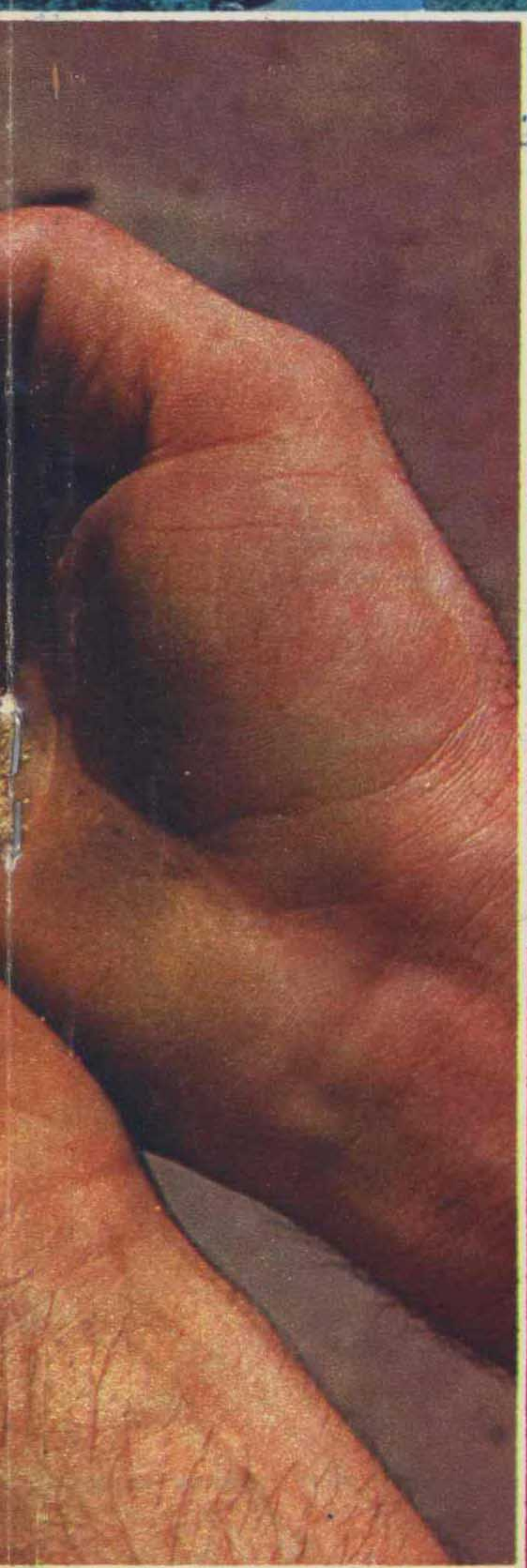
Фото Дм. БАЛЬТЕРМАНЦА

САГА

О ГО



РНОЙ ШОРИИ



Эдмунд ИОДКОВСКИЙ,
Эдуард ЭТИНГЕР (фото),
специальные корреспонденты
«Огонька»

Есть в Горной Шории безлюдное дикое ущелье на левом берегу реки Мрас-Су, где низвергается с высот, искрясь на солнце, жемчужно-белый водопад с эпическим названием Сага. «Раньше водопад был полноводным,— говорит проводник Юра,— а теперь напор не тот... Отощал малость!»

Водопад представляется мне

в определенном плане символом прошлого и настоящего Горной Шории, «жемчужины Кузбасса», как справедливо именуют ее в туристских проспектах.

Абаканский хребет на востоке и Бийская Грива на юго-западе окаймляют эту сказочную горную страну, не уступающую по размерам Бельгии. Но в отличие от Бельгии девять десятых этой территории — труднопроходимая тайга, а плот-

ность населения здесь еще в 1931 г. составляла лишь 2,2 человека на квадратный километр. И если до последнего времени мне казалось, что самое красивое место на земле — юг Красноярского края, прозрачные до дна реки Кизир и Казыр [там, бывало, плывешь на лодке в горной впадине — тайга с четырех сторон!], то теперь хочется уступить первенство Горной Шории, ее величественным, головокружи-



тельной высоты скалам, зеленым чашам ее долин, замыкаемых на горизонте синими вершинами гор.

Шория встречала нас объявлением в таштагольской гостинице «Эдельвейс»: «ВХОД В ГОСТИНИЦУ В ГОРНОЛЫЖНЫХ БОТИНКАХ ЗАПРЕЩЕН!»

Утро начиналось с подъема голубого спортивного флага — первый этаж здания отдан школе юных горнолыжников. Дети Таштагола и Шерегеша — наш олимпийский резерв.

«Лучшая горнолыжная трасса в стране, где перепад высот удовлетворяет всем мировым стандартам, — это склоны горы Зеленой в Шерегеше», — говорит первый секретарь горкома КПСС Герой Социалистического Труда Юрий Петрович Черепов.

А назван Шерегеш в честь первооткрывателя богатейшего железорудного месторождения — шорца Александра Шерегешева.

Вздыбилась земля кузнецкая в «день второй», в далеком и героическом 1930 году. И до дальних улусов Шории дошел



слух о предстоящем крупном строительстве. Бродячий охотник Шерегешев пришел пешком за двести километров — специально, чтобы посмотреть на строительство в Кузнецке. А тут узнал, что руда для комбината будут возить с Урала.

«Зачем Урал, зачем так далеко машина гонять? Ай, начальник, железная гора в Шории есть, показать могу!»

Василий Скворцов, такой же охотник-шорец, еще до революции нашел на берегу речушки Таштагол камень, родивший железо. Теперь, в 1930-м, вспомнил об этом. Снова забрал на речушку, взял образцы руды и доставил в Управление Кузнецкстроя. Таштагольская руда оказалась еще лучше шерегешской, уникальной по качеству — до 75 процентов железа! Ее засыпают в дома без предварительного обогащения. Действующие рудники Шории обеспечены рудой на много лет.

Скромный памятник у моста через Кондому свидетельствует, что рудник Таштагол вступил в строй 3 июля 1941 года — вовремя, ох как вовремя! Мне захотелось полистать газету «Красная Шория» за вторую половину 1941 года...

— Районная газета была двуязычной, — объяснил нынешний редактор «Красной Шории» Геннадий Лебедев, — смотрите, половина заметок печаталась на русском, половина на шорском языке...

О чем писала «Красная Шория» в августе 1941-го, рядом со сводками Совинформбюро? «Таштагольская руда сейчас нужна Кузнецкому заводу как воздух... Чульжанова, работавшая мотористкой, отказалась от кайлоушки. «Я одна справлюсь», — сказала она. Вместо 60 тонн руды на двоих она намного перекрывает задание, давая за смену по 87—96 тонн руды... На Судочаковском лесозаготовке многие семьи — патриоты Родины, идут от старого до малого на производство и заменяют товарищей, ушедших в армию. Так поступила семья тов. Д. Новикова. Ему 60 лет. Он с 12-летней внучкой выполняет нормы выработки на 100 процентов».

О трех золотых самородках весом в 2100, 2450 и 2950 граммов, найденных и подаренных Родине в те суровые дни, узнала вся Шория. Кстати, крупнейший в Сибири самородок весом 24 килограмма тоже был найден именно здесь в 1905 году. Методы добычи золота изменились, на золотоносных ручьях работают мощные драги, похожие на многопалубные корабли. Алтайский прииск «Запсиб-золота» по-прежнему базируется в старинном поселке золотоискателей — Спасске, рядом с Таштаголом, дает стране золото 920-й пробы и, по словам директора прииска Геннадия Лебских, к концу пятилетки может значительно увеличить золотодобычу.

Лучшая в стране железная руда, самородное и рассыпное золото, крупнейшие залежи угля в Междуреченске, строевой лес, ароматнейший мед, идущий на экспорт, громадные таймени в горных реках — вот что такое сегодняшняя Горная Шория. Храбрый, мужественный народ живет тут. Шорцы чтут память Героя Советского Союза Михаила Кузнецова, погибшего в боях за Родину.

Шорская семья Тенишевых — Никита Семенович, проходчик шахты, и Вера Алексеевна, заведующая магазином, — все свободное время отдают фольклорному ансамблю «Чылтыс» («Звезда»), созданному два года назад. У них две красавицы дочери — Надежда и Людмила. Дочери с отличием окончили Абаканское музыкальное училище, вернулись по распределению в Таштагол. Однако тут, на родине, им заявили, что работы по специальности нет и не предвидится, жилья для молодых специа-

листов — тем более... Люда и Надя танцуют в «Чылтысе», выезжают с концертами в улусы, на свои деньги сшили красивые платья, но чувство обиды не покидает их.

А теперь коснусь щепетильной темы.

Горная Шория административно подчинена Таштагольскому горисполкому, но в штате его сегодня нет ни одного представителя коренной национальности. Нет и газеты на шорском языке. Есть 8 сельсоветов (Усть-Кабырзинский, Усть-Калзасский, Усть-Анзасский, Чилису-Анзасский, Кызыл-Шорский, Каларский, Коуринский и Кондомский), где и ныне преобладают шорцы, но школ с преподаванием на их родном языке не осталось.

— Тут есть еще одна проблема, — вздыхает первый секретарь горкома Ю. Черепов, — шорская молодежь в улусах не остается! Скот не держат, поголовье скота катастрофически уменьшается...

И я вспомнил, что в сводках «Красной Шории» за 1941 год насчитал 73 колхоза, а сегодня их — ни одного, равно как и совхозов... Ведь колхозы были созданы в начале 30-х годов по команде «сверху» — и так же, по команде «сверху», распущены в начале 60-х. А где работать шорцу, если подсобному хозяйству до последнего времени ставились препоны? Некоторые подались на рудники, в шахты, остальные зарабатывают на жизнь охотой, рыболовством, пчеловодством, сбором кедровых орехов. Есть еще богатства в шорской тайге, не оскудели ее кладовые, в этом году — третий сезон подряд! — снова ожидается урожай кедровых орехов.

На мой взгляд, важнейшей статьей дохода для Горной Шории может стать индустрия туризма, ибо эти края — рай для любителей экзотики, но пока что Кемеровский совет по туризму и экскурсиям ничего не строит в Горной Шории, равно как и Российский спорткомитет. Нет даже туристских приютов, если не считать единственного Дома рыбака у слияния рек Пызаса и Мрас-Су, да и то построен он за счет треста Таштаголшахторудстрой.

Ясно, что истинного закаленного туриста радует отдаленность Горной Шории, но доходов от «дикарей» никаких, лишь дурацкие автографы на скалах да пустые консервные банки.

* *

Наверное, не стоит утомлять читателя проблемами Горной Шории. Ибо важно понять главное: есть в нашем обширном отечестве этот удивительный труднодоступный край. Рай для туристов. Таежная родина шорцев, народа жизнестойкого, несмотря на все испытания, выпавшие на его долю.

— Однако мы чуточку по численности обогнали! — говорил мне уже в Москве с гордостью Максим Кусургаев, автор знаменитого цикла передач «Песни на просеках». Максим работает на радиостанции «Юность» и пропагандирует самодельные песни БАМа, ставшие заметным явлением в молодежном искусстве.

...Я спросил у Веры Тенишевой: «А как звучит по-шорски слово «любовь»?»

— «Любовь» — такого слова нет в шорском языке, в нем вообще нет абстрактных понятий, — ответила она. — Однако можно сказать «я тебя люблю» — «мен сена колинджам». Понимаете?

Сразу вспомнился высокий берег Мрас-Су, мимо которого проплывала наша лодка, и пятеро маленьких шорцев на берегу. Юная Шория, мен сена колинджам!

ВАНЕССА РЕДГРЕЙВ: МОНОЛОГ О САМОМ ГЛАВНОМ

Начало на стр. 16.

литическим. В Великобритании он проявляется в небывалом количестве безработных, игнорировании законных прав профсоюзов. Для молодежи вроде бы создали так называемый 6-месячный «Проект овладения профессией», но это, в сущности, блеф. Молодежь таким образом не только не обретает необходимые трудовые навыки, а лишь продает почти даром свой труд, значительно дешевле уровня, завоеванного профсоюзами.

Британская молодежь крайне неудовлетворена своим положением. Власти городов ею почти не занимаются. Школы лишены субсидий, нет даже достаточного количества учебников и писчей бумаги, спортивного инвентаря. Словом, всего того, без чего молодежь не может нормально существовать.

Кроме того, «Проект овладения профессией» насквозь пронизан расизмом: если, скажем, белых юношей принимают, то выходцам из Азии и Латинской Америки могут и отказать. А если и примут, то сделают из них «мальчиков для битья». Вскоре они сами будут рады прекратить «обучение». И еще — вся молодежь (белые и цветные) крайне озабочена угрозой ядерной войны.

...Но я все-таки вернусь к проблеме перестройки в СССР. В этой связи два момента кажутся мне наиболее значимыми. Во-первых, много уже сделано для того, чтобы открыть дорогу правде и писать подлинную историю. В виде статей или даже романов. Таких, как «Дети Арбата» (эту книгу я не читала, но видела отзывы на нее в «Огоньке»). Или пьес, что пишут Шатров и Васильев (его «Завтра была война» я смотрела в марте).

Писатели, драматурги, журналисты, актеры и режиссеры восстанавливают подлинную историю — это очень важно для перестройки. Шатров писал: настоящая правда необходима для необратимости перестройки.

Кроме того, и это, по-моему, второй важный момент, нужно приложить максимум усилий к тому, чтобы все уже принятые решения были выполнены.

Я нахожусь под сильным впечатлением от всего, что говорит и делает Михаил Горбачев. Я абсолютно согласна с ним, когда он утверждает, что стране крайне нужен настоящий прорыв на теоретическом фронте, построенный на строгом анализе всех реалий социальной жизни, на научном обосновании целей и перспектив движения вперед. Ведь трудно представить себе успешное движение вперед, осуществляемое методом проб и ошибок. Это очень дорого обойдется обществу. Искусство политического руководства требует не замалчивания и накопления противоречий, но их своевременного разрешения. Это не дословная цитата. Но мысль Генерального секретаря, как мне кажется, я передаю верно. Он верит в перестройку, и его убежденность передается людям. Но, разумеется, одной лишь веры маловато. И было бы очень печально, если бы люди лишь говорили: «Да, я верю и поддерживаю!», но при этом только выжидали. Однако международная ситуация, объективные факторы, существующие сейчас в мире (но не существовавшие в 30-е годы), способствуют перестройке.

Я глубоко убеждена, что пере-

стройка в СССР должна стать началом перестройки мышления людей в мире вообще. Этому должна способствовать творческая интеллигенция стран Запада и Востока. Иными словами, задача перестройки стоит не только перед одним великим советским народом, за плечами которого такая борьба и такие жертвы. Мир не имеет права забывать, что нацисты потерпели сокрушительное поражение под ударами в основном советских людей, пусть даже ослабленных потерей своих талантливейших военных деятелей в 1937 году.

Иногда меня спрашивают: есть ли враги перестройки в Англии? Я считаю, что каждый порядочный, думающий, честный человек, кем бы он ни был, будет желать успеха перестройке, независимо от того, что он знает или не знает о Советском Союзе, о процессах, происходящих в СССР.

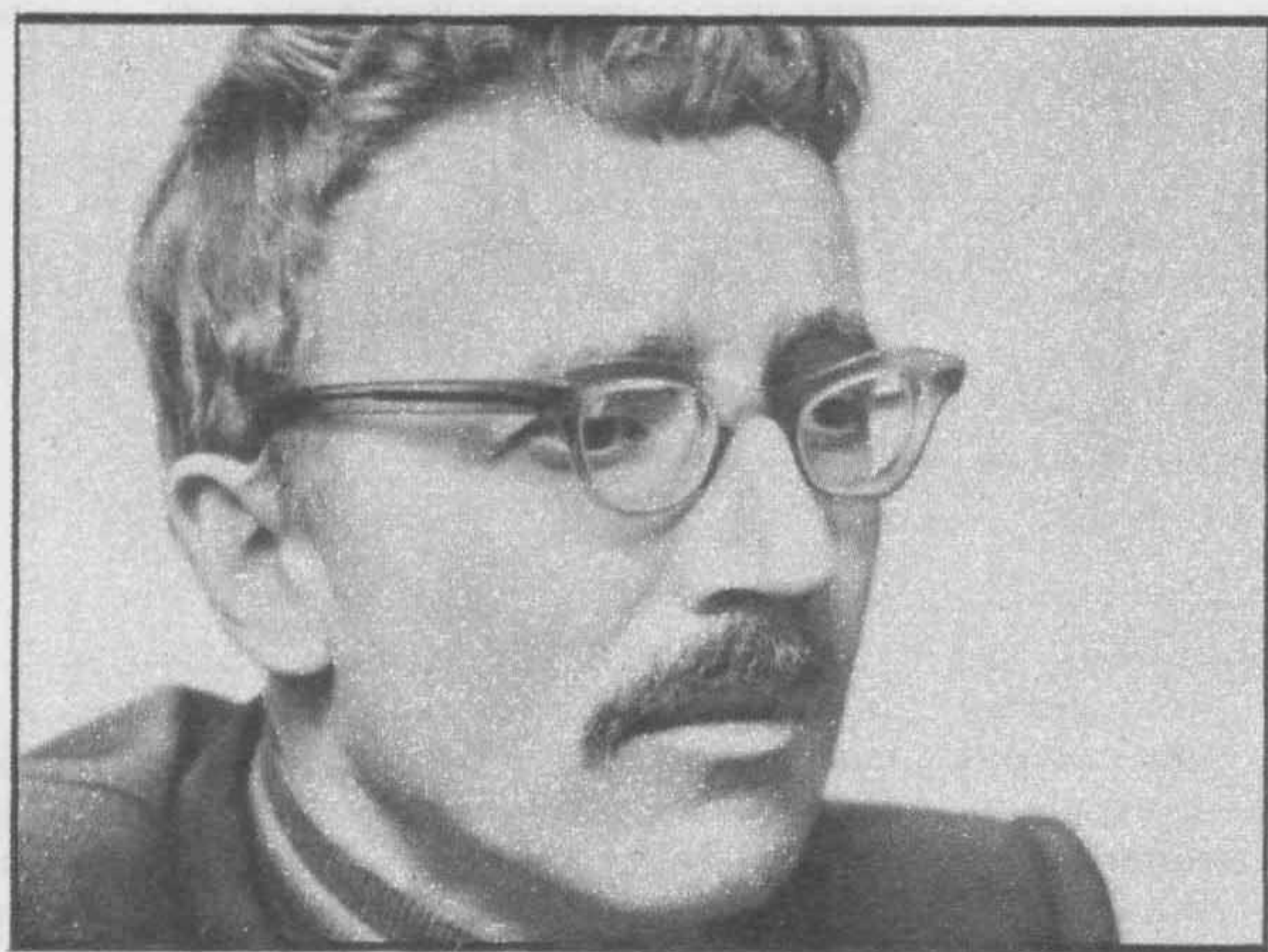
Параллельно я хочу заметить, что социалисты или те, кто называет себя таковыми, неверно изображают суть перестройки, фальсифицируют ее. Они говорят: «Это сдвиг вправо, это не социализм, это трюк».

Капиталистическая пресса печатает подобного рода утверждения, но источник этой лжи легко установить. Ни один честный человек — будь он актер, ученый, служащий или рабочий — не относится к перестройке предубежденно. Большинство людей не верит в буржуазное определение перестройки как «трюка». И опасны не столько откровенные враги перестройки, сколько, так сказать, «внутренние», те, кто говорит, что «это не социализм». Эти силы, кстати, имеют определенное влияние и на профсоюзы Англии. Они ослеплены догматизмом и привычкой формального мышления, кроме того, они защищают свои привилегии.

Есть и другой фактор. У нас в Англии существует громадное влияние буржуазной идеологии на массы трудящихся. К социализму, образцы, представленные событиями прошлого, глубоко засели в головы англичан, а события, происходящие сейчас, не вызывают у них ощущения каких-либо изменений, а если и вызывают, то срабатывает механизм «выборочных впечатлений». Однако англичане стремятся читать ваши журналы и газеты. Люди хотят знать, что на самом деле происходит в СССР. Таким образом, ваша пресса создает благоприятные условия для разрушения прежних стереотипов. Мы все восхищаемся гласностью, размахом критики и самокритики в советской печати. Это не может не оказать позитивного впечатления на народы Запада.

У политики перестройки масса искренних сторонников в Европе и Америке. Советский Союз не изолирован теперь в международном плане, как в 20-х, 30-х и 40-х годах. Прогрессивные силы планеты, рабочий класс должны объединиться в борьбе за подлинную демократию.

Да, мы возлагаем большие надежды на перестройку в СССР. Умы многих повернуты сегодня опять в сторону Советского Союза из-за небывалого экономического и политического кризиса на Западе. Очень многие творческие работники, рабочие, молодежь, члены профсоюзов устремили свои взгляды на вашу страну, ибо они хотят найти альтернативу.



ДЕДУН

Позвонила Света и сказала, что завтра придут следопыты из ее класса, будут записывать, что дедун здесь пережил в блокаду. Так его внучка называет: не дедушка, не дед — дедун. Когда была совсем маленькая, устраивалась у него на коленях, как в кресле, гладила жесткую бороду и повторяла: «Дедун-колдун!» Тогда еще бороды носили реже, чем сейчас, и Павел Порфирьевич со своей седой бородой, закрывавшей весь галстук, и вправду имел вид немного сказочный. С тех пор и осталось: дедун. Чужим и вообще посторонним, может быть, и смешно, а Павлу Порфирьевичу нравится. Да ему все нравится, что говорит и делает Света, а больше всего то, как она гордится, что у нее такой замечательный дедун. Старики часто ругают нынешнюю молодежь: за некультурность, за запросы, за то, что появились на готовенькое, сами ничего еще не создали, а уже требуют... И в целом молодежь, и собственных детей и внуков — конкретно. А Павлу Порфирьевичу повезло с внучкой, жаловаться грех.

Или неправильно сказать: повезло? Не везение, а результат правильного воспитания. Если Света с рождения слышит, как здесь жили в блокаду, конкретно что перенес и какие поступки совершил ее дедун, — как же ей не вырасти настоящим человеком? Ну, может, еще рано сказать про Свету: Человек с большой буквы, большую букву еще надо заслужить, но к тому идет.

Завтрашние следопыты разволновали Павла Порфирьевича, потому он никак не мог заснуть. Своим — сначала Люсе, пока маленькая, потом выросла — появился зять Федор, потом вот Света, теперь и Света полгода замужем, значит, и младшему зятю Валентину, — своим Павел Порфирьевич рассказывал про блокадную жизнь много раз, но никогда еще не собирались к нему, чтобы выслушать и увековечить его жизнь и поступки, люди официальные, а завтрашние следопыты, хотя еще совсем пионеры, все-таки люди официальные: запишут все конкретно, сохранят тетрадки в своем музее. Потому Павел Порфирьевич снова и снова повторял про себя свои рассказы, чтобы завтра не сбиться, не напутать, а то ведь посмеются: склероз! Все-таки нынешняя молодежь...

Но поскольку много раз он все это рассказывал и Люсе вместе с ее Федором, и Свете, и ее Валентину (уже успел), то получалось очень складно, по крайней мере пока про себя.

Особенно самый главный рассказ:

«Зимой сорок второго года, дорогие ребята, а конкретно — в феврале, произошел случай, который навсегда врезался мне в память. У меня был знакомый, который жил здесь недалеко, на Саперном переулке. А я и тогда на Рубинштейна, только в другом доме. А знакомый на Саперном, это считалось близко, хотя если сейчас с Рубинштейна на Саперный, то редко кто пешком, постарается на каком-нибудь транспорте. Считалось, близко, потому что тогда, в феврале, не ходил даже трамвай, и приходилось многим на работу пешком с Выборгской на Петроградскую, например. И ходили, хотя мороз небывалый в истории, улицы не расчищенные ото льда и снега, и голодные все, почти падают. А сейчас никто не пойдет с Выборгской на Петроградскую, хотя и улицы расчищены, и тепло одеты, и сыты... Вы не думайте, что я забыл, о чем начал, я отвлекся умышленно, чтобы вы конкретно представили обстановку.

Пришел мой знакомый с Саперного и говорит: «Я знаю, что мне не выжить, у меня дистрофия последней степени, но у меня неотоваренные карточки, и я не хочу, чтобы они пропали. У меня сестра живет на проспекте Стачек, я ждал,

что она придет, а она не приходит, больше ждать нельзя. Отнесите ей, пожалуйста, карточки; может быть, тогда она выживет. У нее сын девяти лет. Может, и он выживет, если лишний паек».

А февраль только начинался, и неотоваренные карточки на месяц вперед. Да и карточка рабочая, по которой самый большой паек.

Оставил карточки и ушел. Вам сейчас непонятно, как же я его отпустил, если человек говорит, что ему не выжить, и карточку свою оставляет?! А я его накормить не мог, потому что совсем нечем, только напоил горячим кипятком с маленьким кусочком вареной дуранды. Вы ведь не знаете, что такое дуранда?..»

В этом месте мысленного рассказа Павел Порфирьевич как бы запнулся: по ходу получается, что нужно объяснить, что такое дуранда, а он сам не то что не знает, но сомневается, потерял уверенность. Неужели и вправду склероз? Хорошо, что прорепетировал мысленно! Надо уточнить конкретно. Но как, у кого? У блокадника не спросишь, а остальные не знают...

...«Напоил горячим кипятком с маленьким заплесневелым сухариком.

Он оставил карточки и ушел. Вы сейчас и не поймете до конца всех моих переживаний. Скажете, что надо отнести карточку сестре того знакомого, и все. Или позвонить, чтобы зашла сама. Но телефон тогда не работал, почта тоже плохо работала, письмо могло не дойти. Или шло бы долго, а она бы умерла за это время. Но и не это самое трудное. А что самое трудное, вам сейчас и не представить, потому что вы все правильно воспитаны и хорошо знаете, что такое честность и порядочность. Но очень легко быть честным, когда ты сыт, когда все у тебя есть. А когда ты совсем слаб от дистрофии, тогда совсем другое дело. Вы представьте: ведь сестра того знакомого не знала, что карточки у меня! Никто не знал! Значит, я мог их отоварить сам! Получить паек и съесть! И жену накормить, и маленькую дочку, маму вашей учительницы Светланы Федоровны. Сейчас легко быть честным, и то встречаются нечестные люди. А тогда! Знаете, сколько народу вокруг умирало от голода? И я не знал, выживу или умру. И выживут ли жена с дочкой. Их я должен спасти сначала! Отдам карточки, а жена умрет или дочка — потом всю жизнь себе не прощу! А те люди — я их и не знаю. Знакомого того, который пришел с Саперного, знал, да и то не близкий друг, ну, работали до войны вместе. А сестру его совсем не знаю, не видел никогда, и сына ее тоже. Вот такое дело. Сейчас легко решать, а тогда... Вы знаете уже такое слово: «искушение»? Проходили? Вот это и было мне самое настоящее Искушение с большой буквы. Но я себе сказал: «Если ты хочешь остаться Человеком с большой буквы, ты не будешь спасаться за счет цены чужой смерти!» И я пошел на проспект Стачек. Сейчас туда все едут только на метро, а я пошел пешком и шел четыре часа. Потому что очень голодный, потому что мороз почти сорок градусов, потому что улицы завалены снегом. А в снегу часто мертвые, которые упали от голода и замерзли. И я не знал, дойду ли или останусь тоже лежать в снегу. Между прочим, я больной, у меня порок сердца, от этого тоже труднее идти. Но я уже решил, и ничто не могло меня остановить. Кроме смерти. Но я дошел, и сестра того знакомого была еще жива и сын ее тоже. Но оба совсем слабые. Она заплакала и хотела поцеловать мне руку, а мальчику своему повторяла: «Посмотри, Толик, и запомни на всю жизнь, потому что это наш спаситель! Настоящий Ленинградец с большой буквой!»

Тут Павел Порфирьевич невольно сам заплакал, тронутый воспоминаниями. И знал, что завтра, рассказывая уже вслух, снова заплачет, но

это ничего, даже и правильно, что переживает: не бесчувственный же!

Да, так все и было...

Только было не с ним.

Они тогда жили ближе к Пяти Углам, в тридцать шестом доме. И сосед у них со смешной фамилией Мизгирь, как из какой-то оперы. Андрей Матвеевич. Другие соседи, Горничные, эвакуировались в самом начале войны, и остались в квартире две семьи: Бочаровы, то есть Павел Порфирьевич с женой и Люсей, которой только годик, и Мизгири, тоже трое — Андрей Матвеевич, Таня, жена, и сыну их восемь лет, Косте. Его не взяли в армию, потому что еще во время финской он отморозил ногу и пришлось ампутировать по колено. Ну, а у самого Павла Порфирьевича с детства порок сердца. Но, конечно, оба работали. Мизгирь на заводе табельщиком или нормировщиком — какая-то должность, чтобы не за станком, а больше сидеть. Когда без образования, таких должностей мало, но Мизгирю подыскали ради его протеза. А Павел Порфирьевич фельдшером. С детства он по врачам из-за своего порока, да так и остался при медицине. Где-нибудь в поликлинике тогда работа — хуже чем почтальоном: тоже целый день по этажам, по обледелым лестницам — и за один паек, ни грамма сверху. Но он устроился в стационар в «Асторию» — не в смысле современном: больницы, а открыли тогда стационары для полных дистрофиков, больше кормление, чем лечение, хотя и в стационаре тоже далеко до нормального. Но все-таки больше, чем по карточке. Конечно, сам там питался и домой уходил с бидончиком. Ну, это бы полдела — важно, что в бидончике!

С самого начала, когда в первый раз сократили пайки, и понял Павел Порфирьевич, куда клонится, завидовал он поварам и тем, кто при булочных, при складах — при конкретных продуктах, короче. Ругал себя, зачем сам не пошел раньше по кухонной линии, зачем связался с медициной! Завидовал поварам, а потому следил.

Стационар в «Астории» открыли только в январе. Правда, в первой декаде. А до этого Павел Порфирьевич работал в Куйбышевке. Но постарался перевестись, потому что узнал, что «Асторию» будут снабжать лучше: там для творческих работников. Удалось перевестись, потому что организовали стационар заново, набирали штаты. Там и выпало настоящее счастье, твердое спасение: поймал с полчиным самого Евграфа Давидовича, Графа-Евграфа — тот выходил с крупой, с перловкой, нес мало, нес два килограмма. Павел Порфирьевич не поднял шума, и Граф-Евграф это оценил. Не мог не оценить, не было у него другого выхода. Потому и в бидончик наливал погуще, и каждую неделю плитка шоколада как минимум, и сахар, и галеты, и та же крупа. Каши варили на буржуйке в комнате, чтобы не видели Мизгири. Но что-то чуяли. Запах ведь не удержишь, утекал, наверное, сквозь дверь. Косте восемь лет, все уже понимал пацан, так вечно крутился в коридоре. Тогда ведь и уборные замерзли, потому нужно было горшки выносить подальше, чтобы соседи не заглянули, тот же Костя: с голоду стали разбираться не хуже лаборантов, а ведь перловка часто выходит полупереваренной. Да, все предусмотреть... Но ожили. Ведь до января — еще декабрь пережить. Правда, бидончики носил и из Куйбышевки; да и дома нашлось кое-что: сухой горох почему-то, капуста своя квашеная, варенья перезасахаренного килограммов пять еще с лета сорокового — жена, молодец, не собралась выкинуть. Потому дуранды Бочаровым не пришлось попробовать. Ни дуранды, ни шрота, ни черного рыночного студня, непонятно из чего сваренного...



Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА.

И когда шел он по нерасчищенным улицам мимо замерзших мертвецов, мимо еще живых, которые сели в сугроб и, значит, уже не встанут, он если и чувствовал к ним жалость — вообще-то люди дошли до бесчувствия, но он мог себе позволить жалость, — то жалость снисходительную: что ж вы, и сами не выжили, и семью, небось, не смогли вытянуть. У замерзших почти всегда глаза бывали открыты. И в них укор. Пока сидит еще живой — глаза безразличные, а отлетит дух — тогда укор. Но Павел Порфирьевич на эти укоры внимания не обращал. Вот молоток носил с собой — чтобы спокойнее, когда с бидончиком: потому что если и бояться кого, то тех, еще живых, хоть у них и глаза безразличные. В ход пустить не пришлось. А вообще бывало всякое. На их собственной черной лестнице лежал мужчина. Сутки лежал, а как на вторые — уже без ноги. Потому спокойнее с молотком...

В начале февраля Мизгири все еще были живы. Жили на одни карточки. С завода своего ему принести нечего, ну, только если полсупа, что сам не доест. Снести на рынок тоже нечего. Ра-

за два приходил счастливый: за обед на заводе вырезали только хлеб и мясо, и крупу и жир можно еще и в магазине отоварить! Немного же ему нужно для счастья...

Между прочим, тогда-то Павел Порфирьевич совершил очень благородный поступок, только о нем не расскажешь завтрашним следопытам. И Свете не расскажешь.

Горницкие, те, что эвакуировались, оставили одну комнату неопечатанную. Сам же Павел Порфирьевич их и попросил, потому что в этой комнате стоял телефон — тогда же не знали, что скоро телефоны выключат. И когда зашел позвонить уже после отъезда Горницких, увидел прямо на столе сверток. Увесистый. Завязан — не развязать. Надорвал бумагу: серебро — вилки, ложки, остатки бывлой роскоши (отец Горницкого когда-то был известный врач, до революции они занимали всю квартиру). А рядом на столе же, будто нарочно, опись оставленных вещей. Полагалось тогда описывать вещи, уезжая в эвакуацию. Но серебра в описи нет. Значит, хотели увезти, да впопыхах забыли. Для начала

Павел Порфирьевич переложил в буфет: чтобы не на виду, мало ли кто зайдет. А в январе, когда перешел в «Асторию» и дистрофии больше не боялся, стало вдруг жаль Мизгиря, который ничего, кроме карточки, не умеет заработать. Тут и вспомнил про оставленное серебро, предложил Мизгирию: «Возьми ты его да сменяй на продукты! Раз не в описи, оно как ничейное». Ну, это же не честность, а глупость — отказаться! Горницкие в эвакуации — все равно что в другом мире. Тут в блокаде сейчас особые законы: все, что здесь в кольце, — оно для них, для оставшихся, чтобы помочь выжить! И умирать, сохраняя серебро для Горницких, которые жрут сейчас где-то в Алма-Ате настоящий хлеб с довоенным маслом, трижды глупо! Но отказался хромой идиот. Жену бы пожалел, сына! Нет...

Пришлось взять самому. Тем более пошли слухи, что будут ходить от домкома, проверять по описям. Мизгирию сказал, что сам отнес на Кузнечный, получил две буханки хлеба да кило сахара. Тот поверил. Вряд ли в январе столько дали бы за те вилки-ложки; Павел Порфирьевич сам не приценивался, но представлял, что на что выменивают — со слов Графа-Евграфа. А Мизгирь и вовсе не знал цены вещам, вернее, обесценения, потому что ему менять было нечего; Танька его сходила однажды на рынок, купила кусок дуранды за сорок рублей — устроила пир своим мужикам. Но когда Павел Порфирьевич рассказал Мизгирию, что выменял на горницкое серебро, и объяснил, что половина ему как общее наследство от соседей, тот еще стал выкобениваться, напирать на честность. Хорошо, Танька его взяла. Прикрикнула на своего идиота-мужа и взяла. Женщины разумнее. Мог Павел Порфирьевич ничего не говорить про серебро, не всучать чуть не насильно буханку хлеба и полкило сахара? Свободно мог. А тогда такой подарок — все равно что «Жигули» в придачу к даче! Нет, не сравнить и с дачей. Жизнь ни с чем не сравнить. Но вот вручил... Это-то и есть настоящий благородный поступок — из жизни, а не из красивых книжек, но не объяснить этого теперешним пионерам. И родной внучке не объяснить.

Тогда, перепрыгивая горницкое серебро уже в собственный буфет, пережил Павел Порфирьевич то самое Искушение с большой буквы: что, если и правду пойти на Кузнечный, но не с серебром, а с парой пачек галет да плиткой шоколада? И принести оттуда... Но не поддался, потому что хотел оставаться честным. Смотреть прямо в глаза. Пока он только ради семьи, ради Люськи, которая не плачет от голода, как девочка в квартире этажом ниже, пока ради них, ради жены с дочкой, до тех пор он может смотреть прямо в глаза, он не Граф-Евграф! А Мизгирь со своим честным принципом — как он может смотреть в глаза своему Косте?! В восемь лет — морщинистый старичок...

В начале февраля Мизгири еще были живы. Тогда и появился у них этот нахальный знакомый с Саперного. Надо придумать: чтобы человек шел через весь город, нес карточки чужой сестре! А если сам свалится? Да какой человек — мало, что дистрофик, дистрофик на протезе! Удивительное нахальство. Тем более в такой район: победы, что далеко, там и обстрелов больше, потому что рядом Кировский завод, а дальше, в Урицке, вообще фронт, немцы. Удивительное нахальство! Хоть сам умираешь, но остаешься человеком, не тащи с собой другого! Тем более до Рубинштейна-то дошагал! Вот и шагал бы дальше — сам.

Да, так все и было: Мизгирь пошагал на проспект Стачек, и Танька на него вовремя не накричала, как тогда с хлебом и сахаром. Как он дошел? Дистрофик. На протезе. Только и объяснишь, что тогда все было возможно: дистрофик мог то, чего не осилить нынешнему сытому и здоровому. Хотя и вышагивал шагов по десять в минуту, наверное: шарк... шарк... шарк...

Дошел до проспекта Стачек, но и сам дошел: в том смысле, как тогда говорили. Не оставь он столько сил в том походе, кто знает, может, протянул бы дольше, а там прибавка в середине февраля. Точного числа Павел Порфирьевич не помнит. Есть блокадники, которые каждую прибавочную дату помнят точно, для них эти даты как повторные дни рождения, а Павел Порфирьевич — нет. Но помнит, что Мизгирь умер дня через два после той февральской прибавки — не могла она сказаться на нем так быстро. Был бы не так слаб... Таня его дотянула до эвакуации, их с Костей вывезли по льду в марте. Говорили, она умерла уже в Кобоне. Наверное. Во всяком случае, в дом тридцать шесть они не вернулись. Ни она, ни Костя.

Ни в чем Павел Порфирьевич перед Костей не виноват: его отец с матерью сами выбрали судь-

бу. Ну то есть смерть они нарочно не выбирали, так уж получилось, но отчасти и выбрали: тот же поход на проспект Стачек — не ходил бы Мизгирь, может, и не дошел бы сам. Ни в чем перед Костей не виноват, а все же как-то легче, что не пришлось потом встречаться. Через сколько-то лет после войны на доме тридцать восемь открыли доску, будто в этом доме жил Рубинштейн — композитор, в честь которого улица. Павел Порфирьевич тогда уже переехал в дом одиннадцать, в нынешнюю квартиру, но встретил старика Горницкого на улице, как раз у толстовского дома. Горницкий был такой возбужденный весь, что он будет писать, что доска не на том доме, что Рубинштейн жил в квартире как раз под ними, что и доказательство есть: старые рецепты отца, на них адрес — «Троицкая, 38», — потому что с тех пор переменялась нумерация, а доску по ошибке повесили на нынешний дом тридцать восемь... Кто о чем, а у Павла Порфирьевича сразу мысль: Костя Мизгирь прочтает в газете, что бывший его дом стал знаменитым, и захочет вернуться! Почему — непонятно, да и не виноват Павел Порфирьевич ни в чем перед ним, а не хочется даже случайно встретить на улице. И стал запугивать Горницкого: мол, сначала доска, а после захотят музей, и если квартира прямо под ними, могут расселить куда-нибудь и Горницких. Тот и вправду испугался, никуда не писал, доска и до сих пор не на том доме...

Обменялся Павел Порфирьевич еще в сорок шестом, и очень удачно: нашел инвалида, который не мог жить один в квартире из-за частых припадков, так что получил за две коммунальные комнаты отдельную квартиру. На такую удачу и рассчитывать было невозможно, когда начинал обмен. Нет, меняться Павел Порфирьевич стал не из-за Горницких, хотя, наверное, надо было положить им ложки-вилки обратно в буфет и забыть. Сразу растерялся, а потом поздно. Так всегда: честные люди теряются, сделают неловкость и потом выглядят черт знает как. А настоящие воры непойманные. Да, потом поздно, а эти ложки-вилки не выймешь со дна буфета, потому что вдруг зайдут нечаянно — соли или спичек спросить по-соседски. А продавать не хотелось. Но не из-за серебра все-таки. Жила старуха на лестнице, которая всех Бочаровых ненавидела, кричала пакости вслед — а за что? Тетя Даря, алкоголичка.

В сорок третьем году, когда настоящий голод уже начали забывать, жена Павла Порфирьевича потеряла бдительность и пригласила эту тетю Дарю убраться и вымыть полы — за крупу и сахар. Хотелось уже жить по-человечески, а жена всегда ленилась приложить руки к хозяйству, будто из буржуйской семьи. Тогда это важно для анкеты, поэтому Павел Порфирьевич социальные корни свои и жены знал досконально: у него самого — рабочий класс, он бы пошел за отцом на завод, если бы не порок сердца, а у нее — крестьяне-середняки, лучше бы бедняки, но и середняки не портили соцпроисхождения... С ним не советовались — знала, что запретил бы, — пригласила; тетя Даря полы отскребла, матрацы выколотила, стекла — почти все уцелели, такое везение! — вымыла, крупу да сахар взяла, а потом подняла крик, когда отметила нечаянный заработок. И где только достала, спрашивается? Тогда с этим жидким продуктом — глухо. Что может орать дурная баба? «И откуда у Бочаровых мешками запасы?! Люди мерли, а они ряшки отъели!» Противно вспоминать. И какие мешки? Какие ряшки? Павел Порфирьевич тоже похудел — на шесть килограммов. Кость у него широкая, потому кажется упитанным. Никто бабу Дарю не слушал, не смогла она устроить Бочаровым неприятности, если не считать, что сама стала вечной неприятностью. Как наберется, вылезет из квартиры, усядется на лестнице, благо подоконники широкие, не то что сидеть — лежать совершенно свободно, и ждет. Павлу Порфирьевичу плевать, а жена сколько раз обходила бабу Дарю черным ходом. И Люся уже подросла, скоро бы начала понимать. Пришлось меняться.

Если в самые страшные месяцы, когда жизнь и смерть на весах и смерть перетягивала, Павел Порфирьевич и делал что-то не по прописи, не по красивой книжке, то ради Люси. И ради Сони, жены, и самому жить хотелось, но больше всего ради Люси. А этого ей было и не рассказать. Про крупы и сахар от Графа-Евграфа. Выжила на этих крупах, а ей же и не рассказать! Где справедливость?

Ну, а что-то надо рассказывать. Вот и вырвалась когда-то в первый раз история про знакомого с Саперного переулка, про ее сестру с мальчиком на проспекте Стачек.

Павел Порфирьевич и сам бы совершал такие благородные поступки — и этот, и еще гораздо благороднее и самоотверженнее! — если бы имел

конкретные гарантии, что получит за них почет и уважение. Или, как раньше всеми признавалось, райское блаженство. Отец Павла Порфирьевича уже не веровал, а дед — ого-го! Дед знал в раю каждый уголок как свою комнату, рассказывал с мельчайшими подробностями, будто побывал на экскурсии, и не один раз. Так когда была твердая вера в райское блаженство, тогда благородный и самоотверженный поступок — все равно что вклад в сберкассу. Или взнос на небесный кооператив со всеми блаженствами. А когда без рая и без твердых гарантий на земной почве? Вот Мизгирь совершил — ну и что толку? Никакой конкретной благодарности, никакого почета — наоборот, умер и забыт давно. Так зачем его поступки? Что в них проку? Ни в какой рай Мизгирь не верил, не рассчитывал на небесную благодарность. А без поступков, может, и выжил бы. Вполне даже возможно... Но и не пропадать же поступку совсем. Все-таки красивый и благородный. Как с костюмом, который остался после Мизгирия. Таня сама предложила, потому что ей было не увезти, а описать вещи не хватило времени. Так и так пропадать, вот и предложила: лучше соседу, чем чужому дяде. И не потому Павел Порфирьевич взял, что так уж нужен, хотя и донашивал потом в будни, а свой берег для праздников; но не потому взял, а чтобы не видеть, как годная вещь пропадает без толку. Так и поступок: не надо было его совершать, но раз совершен, зачем же пропадать? Даже и больше: тем, что он взял поступок Мизгирия, примерил на себя, Павел Порфирьевич придал жизни правильное направление, что ли, потому что воспитались на нем и дочка, и внучка, а теперь вот и внучкины пионеры. А тем же пионерам нельзя и рассказать, что вот жил такой Андрей Матвеевич Мизгирь, совершил благородный, самоотверженный поступок и за него умер без всякой награды. Где же тут воспитательное значение? Пионеры воспитаны так, чтобы справедливость всегда торжествовала, и во всех их красивых книжках так происходит, Павел Порфирьевич и сам почитывал, пока Люся маленькая, а после — Света; и, значит, Мизгирь своей неумелостью опорочил самую идею благородного поступка: не можешь обеспечить награду в виде конкретного почета и уважения — так и не совершай!.. Зато Павел Порфирьевич все теперь исправляет очень хорошо: поступок не пропадает, воспитывает подрастающее поколение. Только вот нельзя рассказать, как он шел от Пяти Углов на проспект Стачек на протезе — но ведь и с пороком сердца такой путь, да когда через сугробы и мороз под сорок, а сам качаешься от голода — с пороком сердца тоже получается вдвойне самоотверженно и благородно.

Павел Порфирьевич столько раз уже рассказывал про этот путь, что уже почти на сто процентов верил, что прошел им в начале февраля сорок второго. И когда заснул наконец, снились ему чистые, словно в лесу, уличные сугробы, потому что не коптели тогда промышленные трубы, а из сугробов глядят на идущих замерзшие глаза. А он идет на проспекте Стачек со своим пороком сердца — мимо глаз, мимо глаз; несет карточки совсем незнакомым людям — и потому в замерзших глазах нет укора...

И утром так приятно помнился этот сон.

Вообще с утра Павел Порфирьевич чувствовал себя необыкновенно бодро, как не чувствовал себя давно: все-таки уже под семьдесят, накопились неизбежные болезни — в добавление к пороку, с которым так сроднился, что уже почти и не болезнь, а особое свойство, присущее сердцу Павла Порфирьевича.

Он встал — не то что вскочил, но встал быстро для себя, включил радио, надеясь на веселую спортивную музыку, но вместо музыки услышал стихи, ну что ж, помахал руками и под стихи, благо в них тоже ритм, а вместо водных процедур обтерся с ног до головы одеколоном.

Привычка вместо мытья обтираться одеколоном тоже пришла оттуда, из первой блокадной зимы. В «Астории» с самого начала работал горячий душ, мыть дистрофиков было необходимо, отмывать не грязь — засохшую кору; ну, конечно, пользовались и сотрудники. Но душ был общий, каждый там на виду, и Павел Порфирьевич стеснялся раздеваться при всех, стеснялся своей упитанности. То есть не настоящей теперешней упитанности, но, по тогдашним понятиям, откормленного тела. Тем более и кость широкая от природы. Под одеждой не так видно, а разденешься... У других словно чистые кости (лежал в «Астории» артист из циркачей, шутил: «Остались от мощи голые мощи!»), а у Павла Порфирьевича кое-какое мясо. Вот и стеснялся, сдерживал характер потому что. Зато Граф-Евграф никого не стеснялся, мылся, да еще пел громко из «Волги-Волги»: «Потому что без воды и не ту-

ды, и не сюды...» Да, Павел Порфирьевич стеснялся ходить в душ, а для гигиены обтирался одеколоном. И когда потом открылись городские бани, то же самое, даже еще хуже: свои сотрудники, ну шептались бы, ну распустили бы сплетню, а в городской бане могли избить — бывали случаи. С тех пор и осталась привычка. Уже можно было свободно идти в баню, а не тянуло, да вроде и кожа отвыкла от мыла, появляется раздражение. А одеколоном — хорошо! Вот только исчез куда-то привычный «Тройной», приходится покупать одеколоны с какими-то новыми названиями. Сегодня вот протерся «Русланом». Тоже Руслан нашелся... Не хватает Людмилы.

Софья Васильевна, супруга Павла Порфирьевича, умерла уже двенадцать лет назад. После войны она очень растолстела и с трудом носила себя. А тут вдруг сразу побежала за троллейбусом: от резкой нагрузки сразу припадок — «скорая», больница, и через три дня скончалась... А почему опаздывала, что пришлось бежать за троллейбусом? Света должна была выступать в Доме культуры — как называется... в бывшей церкви у Варшавского вокзала, — а бабушка везла ей перешитое платье. Вот так, все для них, для детей!.. Ну, правда, на Свету жаловаться грех, выросла человеком — воспитание правильное. Даже тогда, девочкой еще, когда узнала, из-за чего умерла бабушка, ушла из кружка. А ведь так нравилось ей на сцене, в школе уже звали Светкой-артисткой. От бабушки, наверное, и унаследовала: у Сони в молодости все разговоры были про артистов, влюблялась все время — то в Баталова-старшего, то в Жарова, — так что Павел Порфирьевич ревновал всерьез. А когда кончилось все, выжили, Соня шепнула ему однажды: «Ты лучше всякого артиста! Потому что настоящий мужчина, спас семью, а особенно Люсю!» Оценила! Через дочку пришла к Большой Любви к собственному мужу — с самой большой буквы. Вот в чем награда его, а не в единственной медали.

Соня, конечно, знала до последней мелочи, чего он совершал, а чего нет. И в первый раз он рассказал Люсе про свой поход на проспект Стачек, когда Сони не было рядом. Но Люся в тот же день заговорила об этом походе при матери, Павел Порфирьевич посмотрел на Соню выразительно — и та все поняла. Даже наедине они с Соней не заговаривали ни про Мизгирия, ни про продукты от Графа-Евграфа, будто не было, будто прожито так, как рассказывает теперь Люсе, потом Свете. И все-таки Павел Порфирьевич испытывал какую-то неловкость и предпочитал рассказывать, когда Сони рядом нет. А когда умерла, скончалась, то не осталось единственной свидетельницы... Нет, он очень переживал: столько прожито вместе, пережито! Но рассказывает с тех пор свободнее, что ли, подробностей припоминает больше...

Следопыты пришли вместе со Светой сразу после уроков. Мальчик и две девочки. В парадной форме, в белых рубашках. Прямо в прихожей они отдали Павлу Порфирьевичу салют по всем правилам, и самая высокая девочка отпартовала старательным голосом, каким читают стихи, что пришли для встречи и беседы с ветераном медицинского фронта блокады. Павел Порфирьевич слушал с удовольствием: он любил всякие торжественные церемонии, и когда девочка немного запуталась:

— ...в вашем лице всех, которых не пощадили... которые сохранили всю жизнь...

подсказал:

— ...Не щадили никаких сил и самой жизни, — и, вытянувшись, насколько позволяли болезни, стал слушать дальше.

После рапорта все вошли в большую комнату, следопыты и Павел Порфирьевич уселись за обеденный стол, а Света в стороне в кресле-качалке, еще довоенной, теперь таких нет — хорошо, что не сожгли. Обе девочки вынули одинаковые большие тетрадки, на обложках которых уже заранее было написано толстой красной линией: П. П. Бочаров — так пишут теперешние цветные не карандаши, а эти — фломастеры. А когда Павел Порфирьевич начал рассказывать, одновременно записывали, и это тоже Павлу Порфирьевичу понравилось: что упустит одна, ухватит другая. Немного только разочаровало, когда, заглянув боковым взглядом в тетрадь, он увидел, что пишет пионерка, та самая, которая рапортовала, неразборчивым взрослым почерком, почему-то он заранее умилился, представляя, как юные следопыты будут старательно выводить крупные детские буквы: в расчете на такое писание и говорил нарочито медленно, а эти строчат...

Света в прихожей сказала, как зовут следопытов, но Павел Порфирьевич от невольного волнения не запомнил.

...Вы, ребята, попробуйте конкретно вообразить ситуацию. То есть вы не можете вообразить:

приходит человек и спокойно говорит, что умрет не сегодня, так завтра. Как теперь сообщают, что уезжают завтра в отпуск и уже куплен билет. А я слушаю и ничего не могу сделать. То есть я сделал, сейчас я расскажу, как выполнил его последнюю просьбу, но помочь ему самому, спасти конкретно его не могу. И он знает, что накормить его я не могу. И сам не просит. Умирает от голода — и не просит накормить. Это надо понимать, это и есть Ленинградец с большой буквы. Ну, конечно, согрел я ему кипятку и дал крошечный сухарик. Заплесневелый весь».

Павел Порфирьевич внутренне порадовался, что накануне прорепетировал рассказ, а потому уверенно обошел опасное место и не должен конкретно объяснять, что такое дуранда. Свете он, правда, рассказывал когда-то, да вряд ли она помнит такие мелочи: сухарик — не сухарик... А если чего-то помнит, не станет же придирается к ерунде, сообразит, что пионерам понятнее сухарик, чем какая-то дуранда. И не нужно им слышать такое слово, а то еще станут смеяться и дразниться: «Ты, дуранда!»

— Да, заплесневелый весь.

Упоминание о блокадном угощении по-своему подвизовало на Свету:

— А давайте мы немного прервемся и выпьем чаю! Тем более и дети не обедали, прямо после уроков — сюда.

Павел Порфирьевич в душе не одобрил это предложение: если чай, то как же девочки станут записывать? А если не записывать, то пропадет кусок рассказа — жалко. Совсем же прерываться не хотелось, потому что как раз разошелся. И все-таки вслух возражать не стал, ведь, пожалуй, Света и сама голодная. А сознание, что внучке что-то неприятно или чего-то не хватает, было ему невыносимо.

Света, с тех пор как вышла замуж, уехала от своего дедуна. Формально она оставалась прописана здесь — Павел Порфирьевич сам и настоял, сказав совершенно отчетливо: «А вдруг умру? Не пропадать же площади!» — тем самым избавив Люсю и Свету от необходимости говорить постыдными недомолвками. Люся с Федором давно уже отделились, построили кооператив — и каких трудов стоило когда-то Павлу Порфирьевичу остаться здесь, не сдавать квартиру, а позже: прописать внучку! — и, оставшись с отъездом Светы один, Павел Порфирьевич скучал. Вот потому-то теперь он особенно радовался, глядя, как Света хозяйничает. Все на привычных ей местах, будто и не уезжала. Чашки эти с красными цветами сама когда-то и подарила своему деду на первую получку, с тех пор он из других и не пьет... А вот это зря: серебряные ложечки!

Горнички, когда вернулись из эвакуации, о своих ложках-вилках и не заговаривали. Павел Порфирьевич сам однажды счел нужным рассказать как бы вскользь: «Мизгирь уже и серебро какое-то сменял на хлеб и сахар, да не помогло бедняге». Горнички и тогда ничего не сказали прямо, только вздохнули: «Мы понимаем, что вы тут пережили. Очень даже понимаем!» Что они могут понимать, пересидев в своей Алма-Ате?

Маленький отличник крутил перед близорукими глазами серебряную ложечку, и вдруг Павла Порфирьевича охватила паническая уверенность, что перед ним сидит внук Горнички. Или, скорее, правнук. Очень даже может быть! Фамилию отличника Павел Порфирьевич не запомнил, но не Горничкий — такую бы он не пропустил равнодушно сквозь память, — только это ничего не значит, ведь может быть внук по женской линии. Придет домой и расскажет, что был в гостях и мешал сахар в чашке серебряной ложечкой — теперешняя молодежь с самого детства понимает, где серебро, а где нет: вон напротив в скупку какая очередь каждый день, и стоят часто совсем мальчишки... У кого в гостях? Что учительница Светлана Федоровна — внучка их бывшего соседа, Горнички, знать не могут: тоже через женскую линию другая фамилия, но на тетраджах-то вон как жирно выведено: П. П. БОЧАРОВ!.. На девочек Павел Порфирьевич почему-то не думал, что они из рода Горнички, только на отличника. Показалось, и похож чем-то: у старика Горничкого тоже уши, как звукоулавливатели.

Конечно, было бы ужасное совпадение, но совпадения бывают и не такие! К ним в стационар раз внесли лейтенанта, которого ранило на площади у самой «Астории», а там уже лежал с ди-строфией отец того самого лейтенанта! Но сын этого не знал, он получил краткосрочный отпуск и шел к отцу на Подъяческую. Такое вот совпадение! И прекрасно они могли бы не встретиться, лейтенанта, перебинтовав, отправили бы в военный госпиталь, но у кого-то случайно мысль: не родственники ли? Потому что фамилия редкая: Крогиус. Архитектор, кажется, был отец. Ну, разрешили сыну в виде исключения долечивать-

ся в гражданском стационаре, потому что рана легкая. Сестрички все с ума посходили: единственный военный, единственный молодой... Да, бывают совпадения, а тут тем более, школа по микрорайону. Не надо было доставать эти ложки-вилки. То есть только чайные ложечки, но все равно.

Этими ложками-вилками в доме Павла Порфирьевича пользуются постоянно с тех пор, как он узнал, что от серебряных ложек большая польза: мельчайшие атомы серебра проглатываются с пищей и производят дезинфекцию желудка (не дураки, значит, были прежние князья и буржуа), а Павлу Порфирьевичу это особенно ценно при его язве. Чего стоят любые вещи по сравнению со здоровьем и жизнью, Павел Порфирьевич усвоил твердо, как всякий блокадник... Вот и привыкла Света их доставать на стол. Нужно было предупредить, а как? Не объяснишь же настоящую причину. И не скажешь: «Как бы твои следопыты не унесли в кармане ложечку!» Значит, невозможно предупредить. И получается, что перед внуком Горнички или правнуком он — седобородый, всеми уважаемый старик, ветеран медицинского фронта, как рапортовали сегодня, — будто голый. И не прикрыться.

Павел Порфирьевич рассердился: да кто он такой, этот мальчишка, чтобы судить? Что он пережил, что перенес? Да перенести его в блокаду, в голод — на машине времени из фантастического романа, — он бы и не такое наделал, этот аккуратный паинька-отличник, привыкший на всем готовом.

Нет, Павел Порфирьевич прекрасно понимал, что никакой этот пионерчик не внук Горнички: на такое совпадение один шанс из тысячи, — понимал, а мысленно оправдывался перед ним, как перед настоящим внуком или правнуком бывших соседей. Те тоже хороши: пересидели самое страшное время в Алма-Ате, вернулись — дом цел, вещи целы, так им еще и серебряные ложки подавай! Хотя вслух не говорили, не решились, но про себя-то небось осудили!..

От всех этих мыслей Павел Порфирьевич сбился с рассказа и только повторял суетливо:

— Пейте чай... Пейте, пока горячий... Вот и варенье берите... Не стесняйтесь, берите... И печенье совсем свежее...

Света почему-то все никак не садилась. Чай ее остывал, а она чего-то рылась в буфете. И вдруг закричала торжествующе:

— Вот смотрите! Нашла все-таки!

И положила на стол, на самую середину маленький жалкий сухарик — когда-то черный, но уже сплошь покрытый белесым налетом.

— Так и знала, что найду! Дедун всегда какие-то корочки оставляет, они заваливаются... Вот смотрите, ребята: маленький сухарик, весь заплесневелый. Сколько в нем граммов, а, дедун? Граммов пятнадцать, не больше, да?

Оживление внучки передалось Павлу Порфирьевичу, он отвлёкся от своих нелепых страхов, взял сухарик, взвесил на ладони:

— Да, не больше, если не десять...

— А вы помните, как дедун... то есть Павел Порфирьевич... вам рассказывал, как он дал на дорогу тому знакомому заплесневелый сухарик? Вот такой, значит. И это было необычайное лакомство. Сравните с сегодняшними печеньями.

Молодец Света! Что значит учительница. Сразу появилась наглядность. Слушать — одно, а увидеть и пощупать — совсем другое.

Следопыты, передавая друг другу, щупали и взвешивали сухарик.

Девочка, та, что отдавала рапорт, подняла руку, как в классе:

— А можно спросить?

Павел Порфирьевич с удовольствием кивнул: значит, рассказ подействовал, пробудил конкретный интерес.

— Скажите, пожалуйста, а что стало с той женщиной и ее сыном? Которых вы спасли. Вы с ними не встречались после войны?

Когда-то об этом же спрашивали и Люся, и Света. И хотелось, чтобы у истории был счастливый конец, хотелось, чтобы Павел Порфирьевич взял их за руки и привел к спасенной женщине, — вот была бы сцена, лучше, чем в любом кино! Приходилось их слегка разочаровывать, хотя и не очень: счастливый конец получался, но без эффектных сцен. То же самое пришлось повторить следопытам:

— После войны я пытался их разыскать, пришел в ту квартиру. Мне рассказали, что они дожили до апреля, а тогда эвакуировались. Дальше следы теряются. Ведь я не знаю их фамилии, они — моей. Мне тогда, в феврале, и мысль не пришла, чтобы оставлять свою фамилию или адрес. Я ведь не ради благодарности. Пусть запомнят, что добро делается не в расчете на благо-

дарность: очень важно как воспитательная истина, даже важнее, чем эффектная встреча после войны.

А жалкий заплесневелый сухарик достался между тем маленькому отличнику. Тот его поднес совсем близко к очкам — не то рассматривал, не то обнюхивал. Вот-вот, пусть представит, как бы он выживал на таких сухариках!

— А мне можно спросить?

Павел Порфирьевич кивнул с еще большим удовольствием: приятно, что и у отличника вопрос.

— А скажите, пожалуйста, как мог тот сухарик, которым вы угостили знакомого с Саперного переулка, заплесневеть? Ведь плесень заводится, если хлеб долго лежит в тепле. Мы проходили. А тогда хлеб не лежал, его съедали быстро, мне рассказывал дедушка. И было холодно даже в домах.

— Какой твой дедушка?! Он же в Алма-Ате, в эвакуации! Что он знает!

Павел Порфирьевич выкрикнул это, не успев толком подумать. Снова показалось, что отличник — внук Горнички: кто же еще может ему не верить?

Крик Павла Порфирьевича испугал отличника, тот стал торопливо оправдываться:

— Почему в Алма-Ате? Мой дедушка здесь всю блокаду! Он был ремесленником. До войны. Их сразу на Металлический. Зато рабочая карточка.

Понимает: «рабочая карточка»!

Павел Порфирьевич немного опомнился, сообразил, что отличник — вовсе не обязательно внук Горнички. То есть точно не внук. Надо же было выкрикнуть такую глупость про Алма-Ату — выдать себя! Сначала выдал себя заплесневелым сухариком, а потом еще вдобавок про Алма-Ату... «Не плесневели!» У них, у Бочаровых, бывали случаи, что и плесневели, но не объяснишь же причин вредному отличнику!

А что объяснишь?

Павел Порфирьевич схватился за левую сторону груди почти под мышкой, где, по его представлению, находится его сердце. Все правильно: ведь расширено от порока, он, как фельдшер, понимает. Расширено, устало, каждую минуту может отказать...

— Света, капли... Скорей... Ты знаешь... Когда не верят... Идите, ребята, идите... В другой раз...

Света знала, где капли, потому что у Павла Порфирьевича случались настоящие приступы, и сейчас он почти инстинктивно ухватился за свой порок сердца как за единственный способ избежать объяснений.

Следопыты вскочили смущенные. Отличник покраснел. Высокая девочка сказала тем же голосом, каким отдавала рапорт:

— Ну, Копылов! Вечно ты! Разберем на совете отряда!

И Света, которая недавно так явно гордилась своими учениками, подхватила:

— Не умеешь себя вести, Копылов. Жалко, твой дедушка тебя не воспитал как следует. А то слушаешь рассказы, которые не понимаешь!

Следопыты поспешно ушли, а Павел Порфирьевич все еще держался за грудь, на всякий случай. Да сердце и вправду покалывало...

Очень хотелось Павлу Порфирьевичу, чтобы вездливый отличник получил как следует. Ну что такое совет отряда! Надо, чтобы Света вызвала родителей и чтобы дома... Жалко, нынче редко в каких семьях порют детей. Разложить бы его, очкастого! Хорошее средство. Павла Порфирьевича пороли — и отец, и набожный дедушка. Дедушка, берясь за ремень, чего-то повторял из писания про порку — смысл тот, что полезное дело. Видно, и вправду полезное, потому что вырос же Павел Порфирьевич человеком. А кем вырастет этот отличник, этот Копылов? Кем вырастет, если уже сейчас, вместо того чтобы слушать и воспитываться на примере, задает старшим ехидные вопросы, старается поймать на слове!

Павел Порфирьевич выпил двойную дозу капель и опустил руку.

Света волновалась вокруг него:

— Как ты, дедун? Ну, что? Да не переживай ты!

— Не могу не переживать. Характер такой: все близко к сердцу. Это кто равнодушные, тем все равно, а мне — все близко к сердцу... Ничего, уже лучше. Ты бы родителей вызвала этого Копылова, пусть бы дома...

— Обязательно, дедун! Конечно, вызову! Пусть поговорят с ним про уважение к старшим!

Нет, не понимает его Света. Но не объяснить. Саму-то ее пальцем ни разу... Ну, пусть хоть поговорят... А вдруг, вместо чтобы воспитывать внука, явится сюда дед Копылова? Придет спросить, почему в феврале сорок второго у Бочаровых плесневели несъеденные корки?

Ленинград.

ГОД ИСПЫТАНИЙ



МОСКОВСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН 1986/87 ГОДА ОКАЗАЛСЯ НАСЫЩЕННЫМ СОБЫТИЯМИ. БОЛЬШАЯ ИХ ЧАСТЬ ПРОХОДИЛА НЕ НА СЦЕНЕ И НЕ В РЕПЕТИЦИОННЫХ ЗАЛАХ. ТАКОГО ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНОГО ПО СВОИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ (И ДУРНЫМ, И ДОБРЫМ) ГОДА НЕ БЫЛО, ПОЖАЛУЙ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ, А ТО И БОЛЬШЕ.

НО ЗНАЧЕНИЕ ЭТИХ СОБЫТИЙ ПОНЯТНО ЛЮДЯМ, СВЯЗАННЫМ С ТЕАТРОМ, ЗРИТЕЛЮ ЖЕ ВАЖНО ДРУГОЕ. НА СЪЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ, А ТЕМ БОЛЕЕ НА ЗАСЕДАНИЯ ХУДСОВЕТОВ, СОБРАНИЯ ТРУПП ОН НЕ ХОДИТ.

У НЕГО ОДНА ДОРОГА — НА СПЕКТАКЛИ. А ИХ В ЭТОМ СЕЗОНЕ, ВО-ПЕРВЫХ, СТАЛО ПОМЕНЬШЕ. ТЕАТРЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СВОБОДОЙ ЭКСПЕРИМЕНТА И СОКРАТИЛИ ЧИСЛО ПРЕМЬЕР.

А ВО-ВТОРЫХ, УРОВЕНЬ НОВЫХ СПЕКТАКЛЕЙ ЯВНО ОТСТАВАЛ ОТ НОВЫХ, БЫСТРО МЕНЯЮЩИХСЯ ТРЕБОВАНИЙ.

МТЮЗ. Сцена из спектакля «Собачье сердце».

Фото Александра ИВАНИШИНА.

У театра появились конкуренты. Зритель с утра торопится к киоску: а вдруг достанутся «Московские новости»? Зритель стал сидеть у телевизора не по привычке, а сознательно: в 21.00 о жизни скажут откровеннее, чем в это же время в театральном зале, а потом покажут хороший фильм или передачу. Зритель стремится домой почитать тот журнал, что он наконец-то впервые за много лет стал выписывать, да еще надо попросить у знакомых другие журналы, нужно найти время для библиотеки... А тут еще кинематограф... Что же может показать московский театр, чтобы рядовой зритель, не связанный родственными и дружескими узами с участниками спектакля, захотел найти для него время, оторвать его от семьи, от хозяйственных дел, от отдыха, от газет и журналов, концертных и кинозалов, стадионов и ресторанов, сна и веселья, водки и наркотиков — ото всего, что возвышает или унижает, одурманивает или одухотворяет, но зовет к себе жителя большого города?..

Да к тому же театр на пути эксперимента имеет право менять (и меняет!) цены на билеты, причем, разумеется, он будет стараться их увеличить, а не снизить. Значит, билет, стоивший раньше два рубля, теперь будет, допустим, стоить свыше четырех рублей. Если зритель идет вдвоем, то это уже почти десять рублей да плюс буфет, дорога на такси туда и обратно (глупо ехать на общественном транспорте за пять копеек в час пик, если уж разорился на билет в театр)... Словом, поход в театр будет стоить 15—20 рублей. Что ж, во всех городах страны найдутся люди, которым это по карману, не очень часто, но все же. (Хотя такая важная категория зрителей, как студенчество, еще реже сможет бывать в «дорогих» театрах.) Но возникает другой вопрос: а в каких городах есть театры, а вернее, спектакли, которые стоят этих цен? Москва, Ленинград, Тбилиси, Вильнюс... Да и в этих городах много ли найдется «дорогостоящих товаров»? Ну вот, например, Москва: 1986/87.

Как это ни парадоксально, но театр, получив свободу действий, освободившись от мелочной

опеки органов управления, обратился к тем произведениям, которые и раньше никто не мешал ставить. Одна из самых мощных репертуарных линий — классическая. Причем если некоторые из спектаклей расширяли зрительский кругозор, напоминали о существовании пьес несправедливо забытых, но имеющих созвучие с современностью, то «Гамлет» — показатель духовной зрелости театра. Обращение к шекспировской трагедии едва ли не самого популярного театра последнего десятилетия — театра имени Ленинского комсомола, созвездие театральных знаменитостей — О. Янковский, И. Чурикова, А. Абдулов, М. Козаков, имя постановщика — кинорежиссера Г. Панфилова — все это вызывало повышенный интерес к спектаклю. Увы, вялая режиссерская игра с текстом и смыслом, набор расхожих режиссерских приемов-штампов последних трех десятилетий лишний раз напомнили, что режиссура — это не только профессия (хотя в нынешних условиях и эту банальную истину приходится все чаще вспоминать), режиссер — это духовный наставник, идейный вожь. Неудача ленкомовского «Гамлета» — свидетельство истощенности и ограниченности целого направления в театре, непригодности его средств в диалоге с искусством вселенского звучания и значения.

Вторая, еще более мощная репертуарная линия — современная зарубежная драма. Стоп, сразу поправлюсь: пьесы современных зарубежных драматургов, ибо написаны-то они были достаточно давно. Беккет, Ионеско, Ануй, Миллер и Олби — цвет иноязычного репертуара, прямо-таки афиша лучшего зарубежного театра, но... двадцати-, а то и тридцатилетней давности. Театры понять можно — сколько десятилетий они мечтали о Беккете и Ионеско, как давно не шел в Москве Миллер! Но можно понять и зрителей, отнюдь не рвущихся на эти премьеры с предполагаемой страстью, как можно понять и печать, или обходящую молчанием эти спектакли, или печатающую сдержанные отклики. Само по себе «ускорение» на смену застою в области освоения зарубежной драматургии можно только приветствовать, как можно только приветствовать выходящие из забвения имена на страницах журналов. Но стоит подумать и о другом. О том, что,

не решив традиционные вопросы для русской культуры «зачем» и «как», больших художественных свершений на этом пути, как и на всех других, не будет. И о том, чтобы, восстанавливая пропущенные страницы истории мировой драматургии, вновь не отстать на двадцать лет от современности. Во всяком случае, пока театр чаще использует зарубежную драматургию как повод для того, чтобы раздеть актеров и особенно актрис до дозволенных пределов, полагая, что, «разоблачая» участников спектакля, он разоблачает «их нравы». Впрочем, справедливости ради замечу, что это происходит не только на спектаклях по западным пьесам. Братская социалистическая драматургия, отечественные образцы и классика используются театрами для привлечения зрителей если не самой «клубничкой», то хотя бы ее цветочками.

Вдгонку за литературой театры выпустили на волю десяток пьес, написанных более полувека назад («Самоубийца» Н. Эрдмана в Театре сатиры) или в начале 80-х годов — пьесы И. Друцэ, Л. Петрушевской, В. Розова. Но театральными открытиями в области советской драматургии этот сезон не стал, хотя бы уже потому, что, в сущности, ни одно новое имя драматурга не появилось на премьерных афишах Москвы в этом сезоне, ни одного подлинно молодого имени и, за исключением С. Лобозерова и А. Буравского, ни одного перспективного.

Время большинства пьес — конец 70-х — начало 80-х годов, место — квартира, ресторан, действие — на грани или за гранью тех или иных статей уголовного кодекса, проблемы — наследство, любовь втроем, вчетвером, впятером. Это среднестатистическая пьеса последнего времени. На ее основе и в споре с ней пишет последние пьесы Э. Радзинский, ставший бесспорным лидером прошедшего московского театрального сезона. Если не считать его историко-мифологических пьес, основной принцип поэтики Э. Радзинского — парадоксальное, вызывающее, эпатажное сочетание предельной современности с ее дразнящим неприятием, безбоязненное употребление обиходных выражений, лексических и сюжетных штампов, сознательная цитатность, построение пьес из блоков массовой культуры, из бытового

анекдота, из обывательских сплетен и очевидная, нескрываемая ненависть автора и к этой лексике, и к этому обиходу, и к этому человеческому типу. И еще одно обстоятельство. Э. Радзинский насквозь театрален, театральным климатом 80-х годов, причем не только отечественный, но и театра мира он знает лучше любого гидрометцентра. И, как никто, Э. Радзинский уловил, какое значение может сегодня иметь пьеса, написанная для «звезд», когда почти в каждом коллективе есть минимум 3—4 актера, способных хотя бы светить, а тем более греть. И в том, что «Спортивные сцены 1981 года» Радзинский дал В. Фокину, тоже сказало его чутье. Фокин постепенно становится одним из режиссеров-флагманов театральной Москвы. И если его контакт с В. Павловым, О. Меньшиковым и Т. Догилевой не вызывает удивления, то точность построения рисунка роли Т. Дорониной, принесшей ей самый большой успех за последние десять лет, открывает новую грань дарования Фокина. Это особенно важно сейчас, когда минувший сезон сделал явным то, что всячески старались скрыть в предшествующие годы, — кризис руководства театрами, кризис режиссуры.

Среди наиболее опасных последствий застойного периода — задержка выхода на авансцену общественной жизни целого поколения. Поэтому не приходится удивляться, что в большом количестве театров нет главных режиссеров. Во многих московских театрах труппа и руководитель театра выражают взаимное недоверие друг к другу, но сделать в этой ситуации ничего нельзя: уволить пятьдесят актеров столь же невозможно, сколь и одного режиссера — нет реальной смен, нет достойных претендентов-«конкурентов».

Художественные советы театров оказываются своеобразным буфером между диктаторскими замашками главных режиссеров и демагогией под маской демократии, свойственной подчас актерской стихии. О «товариществе по вере», как именovali на первых порах свое детище создатели Художественного театра, никто и не вспоминает.

Именно отсутствие «товарищества», единства творческих и гражданских взглядов руководителей и актерской элиты, и рядовых актеров, на мой взгляд, одна из причин современного театрального кризиса, о начале которого мне пришлось писать еще в начале 80-х годов. Увы, предположения сбылись с лихвой. Стремление представителей разных профессий вину за кризис переложить друг на друга (актеры винули режиссеров, режиссеры — драматургов и актеров, все вместе — критиков) приняло новый характер. Сказано немало справедливого, хотя и оставляющего недоуменные вопросы: почему почти вся критика руководящих органов безымянна, почему крупнейшие актеры, режиссеры и драматурги, увенчанные почетными наградами и званиями, лишь в 86-м заговорили о том, что ясно было и пять, и десять лет назад?

Пока вину за собственный застой можно переложить на чужие плечи. Но с января 1987 года многие театры начали эксперимент, получив право самостоятельно определять текущий репертуар, количество премьер, цены на билеты и т. д. Вместе со свободой приходит и ответственность.

Ближайшие годы должны ответить на многие вопросы. Сумеют ли театры так строить репертуар, чтобы пьесы наших ведущих драматургов не пылились по несколько лет в кабинетах завлито отнюдь не по вине руководящих органов?

Как организовать жизнь театра таким образом, чтобы лучшие актеры получали роль не в качестве подкачки, чтобы заинтересованность в них руководителей была прямо пропорциональна зрительскому интересу? И не только лучшие. Да и само понятие «ведущие актеры» относительно — сколько несыгранных ролей у «звезд», сколько нераскрытых возможностей у «звездочек», сколько одаренных актеров могли бы стать «звездами»?

Сумеют ли театры вновь сплотиться вокруг своих лидеров? Но для этого нужно разрушить элитарные стены перед кабинетами главных режиссеров, куда допускаются три-четыре приятеля «из своих». И самое главное. Сумеем ли мы в ближайшее время вырастить поколение режиссеров, способных осознать и решить эти проблемы?

Время требует безотлагательного выдвижения не просто способных режиссеров, но лидеров, руководителей — тех, кто может вести за собой людей, требует носителей организационных и творческих идей, обладающих даром реализации этих идей. В этом сезоне в Москве появились три новых руководителя театров: Г. Яновская в МТЮЗе, С. Яшин в театре имени Гоголя, Н. Губенко в театре на Таганке, лишившись главных режиссеров театр имени Пушкина, Московский драматический. В театре имени Вахтангова на смену прошлогоднему ликованию по поводу усиления

роли худсовета (в качестве примера и назидания другим) теперь звучит отбой — стало ясно (спустя год!), что худсоветы могут все, за исключением создания новых спектаклей. Можно предположить, что в самые ближайшие годы возникнет потребность сменить руководителей еще в трех-четыре театрах Москвы.

Но показателен факт, что ни один из недавних (и давних тоже!) руководителей не пришел к руководству в том театре, где он работал раньше. Подавляющее большинство главных режиссеров, явно или неявно, вольно или невольно, сознательно или инстинктивно, делали все для того, чтобы рядом с ними не вырос сколько-нибудь равноценный «дублер». Застой не только причина театрального кризиса середины 80-х годов, но и следствие внутреннего застоя, характерного для театрального «промежутка» конца 70-х — начала 80-х годов.

Подавляющее большинство главных режиссеров проявило неспособность в штилевой атмосфере предчувствовать бурю, в сочетании с неумением убеждать труппу спектаклями, а не приказами и с выдвиганием утопических организационных идей. В атмосфере «печального детектива», в которой влачит существование едва ли не большая часть столичных театров, нельзя создавать подлинное искусство.

Отсюда и диктаторские замашки многих лидеров, желание найти причину собственных неудач в других (прямо по А. Твардовскому: «Любой своих просчетов ворох перенесет на чей-то счет»), демократическая фразеология за стенами своих театров и «феодалская лестница» взаимоотношений внутри театра, прорвавшаяся в пылу страстей; «балласт», «чернь» — как только не называли рядовых актеров последнего времени, с каким презрением писали о кордебалете. Между тем демократия, не предполагая, что артисты миманса, вспомогательного состава и хористы завтра станут танцевать Одетту-Одиллию, играть Гамлета и петь Онегина, тем не менее должна дать возможность актеру любого положения не только «сметь свое суждение иметь», но и его гласно высказывать. И в понятие профессии главного режиссера в условиях демократии (впрочем, почему только демократии? Станиславский и Немирович-Данченко понимали это и при царизме) входит необходимость заражать и убеждать труппу общественно-политическими и театральными идеями, воплощенными в конкретных спектаклях. И не только труппу, но и постановочную часть. Справедливости ради стоит сказать, что новый главный режиссер МТЮЗа Г. Яновская в трудных условиях не писала театральных воззваний и манифестов, но пошла на большой риск, обратившись к повести М. Булгакова «Собачье сердце». В качестве награды — беспорный театральный успех сезона 1986/87 года.

Повесть М. Булгакова (и в какой-то мере спектакль МТЮЗа) ставит сложнейшую проблему, может быть, не столько осознанную, сколько гениально угаданную писателем. Шарик сам по себе не представляет опасности. Это милые и забитые псы. Шариковыми их делают Преображенские и Борментали. Полиграфами Полиграфовичами их делают Швондеры. «Собачье сердце» — повесть об ответственности интеллигенции за социальные последствия экспериментов, кабинетных идей.

Один из самых несимпатичных «положительных героев» драматургии последних лет — Зинуля — называла себя ходячей «докладной запиской». Пока она, сидя на пенке, боролась с отрицательным героем-хамом Петренко, это приветствовали. Но вот в минувшем сезоне театры «проснулись», во многих разгорелись «войны», создались острейшие конфликтные ситуации. В коллективах прощало все накопившееся, наболевшее — и справедливое, и дурное. И вот уже театральные Зинули Полиграфовны в разных городах страны объявляют голодовки, отказываются получать зарплаты, правдами и неправдами сбрасывают и театральные Петренко, и заодно театральные новаторы — Чешковых с Потаповыми...

Что, не нравится? Вызываем товарищей из министерств и творческих союзов, чтобы снять Зинулю с пенки? Поклонники пьесы заговорили по-другому, когда живая жизнь столкнулась с кабинетной абстракцией.

Кабинетные идеи рождаются необязательно в министерских кабинетах. Они сочиняются в кабинетах режиссеров, актеров, драматургов, критиков. Одна из самых опасных театральных идей последнего времени — идея Свободного, Доходного и Хорошего театра. То есть спорить с тем, что появление такого театра крайне желательно, вряд ли кто-нибудь будет. А вот то, что такой театр в ближайшее время будет создан (не модель, а сам театр), есть все основания сомневаться. Математики скажут, сколько возможных ком-

бинаций образует сочетание из трех элементов, ясно, что Хороший театр — необязательно Доходный, и наоборот.

Столь же непродуктивна идея превращения актера в свободного художника. А, собственно говоря, от кого будет «свободен» свободный актер? Можно только предположить, в какую кабальную зависимость от нынешних антрепренеров попадут актеры и особенно актрисы. Вот и будут бродить из Вологды в Керчь Счастливец и Несчастливец, неся в котомках за плечами право на дополнительную жилплощадь («обозначено в меню, а в натуре нету»). Ссылки на зарубежные примеры малоубедительны. Во-первых, потому, что нельзя вводить левостороннее движение только для «Запорожцев» — будут аварии. Нельзя, чтобы права режиссеров были как «при социализме», а у актеров — как «при капитализме». Во-вторых, при той зарплате, которую получает сегодня рядовой актер в стране, он не может откладывать сумму, на которую способен существовать в период простоя. И наконец... Предположим, не сложилась судьба актера, и в сорок лет он решил изменить профессию. Куда он или она пойдет? Станут к станку, начнут доить коров?.. Конечно, ближайшая для них сфера — сфера обслуживания. Продавец, официант, стюардесса... В 40—50 лет он и здесь будет отстающим...

Так что в быстрые преобразования в сфере театра, в театральные мечтания последнего времени, сильно напоминающие речь Остапа Бендера в Васюках, верится с трудом.

Признаюсь, первую серьезную тревогу я испытал нынешней весной, прочитав статью М. Захарова в «Литературной газете». Как раз в прежние годы статьи М. Захарова меня всегда успокаивали. Каждую весну, только начнешь задумываться о будущем театра, появляется статья М. Захарова, полная оптимистической иронии, а с ней приходит и надежда: есть человек, который знает какое-то волшебное слово. Последняя статья М. Захарова тревожит. Все в ней есть — и понимание ситуации, и та же ирония (да нет, не та же, чуть надрывная и вымученная). Есть сочувствие человека доброго и искренность правдивого — «дескать, ребята, войдите и в мое, наше положение». Но, по-моему, даже М. Захаров сейчас не знает, что и как ставить в театре. И не ставит.

В этих условиях особую роль может и должна играть театральная критика. К сожалению, основной принцип, по которому жила театральная критика в критический момент истории театра, восходит к пушкинскому: «Сам съешь. Сим выражением в энергическом наречии нашего народа заменяется более учтивое, но столь же затейливое выражение: обратите это на себя. То и другое употребляется нецеремонными людьми, которые пользуются удачно шутками и колкостями своих же противников. Сам съешь есть ныне главная пружина нашей журнальной полемики».*

Сказались застарелые болезни театральной критики: абстрактность, кабинетность мышления, оторванность от живой практики театра, идеализация реальной действительности, сектантский характер мышления. Отсюда и появление большого количества статей, написанных в «жанре групповых отношений», дававших явно одностороннюю и неполную информацию о театральном процессе. Что ж, болеть за своего непредвзято, но вот подсуживать скверно. Не надо «договорных игр» ни в спорте, ни в критике.

К сожалению, статей, отвечающих сложности момента, не было. Преобладала эйфория, духовная нетрезвость, талантливая групповщина и бездарная перебранка.

Духовное единение всех поколений и всех профессий — вот задача, стоящая перед каждым, кому дорог театр.

И уж коли говорить о будущем театральной критики, то оно — в способности ее представителей пройти через очищающий процесс «покаяния», если воспользоваться названием эпохального фильма Т. Абуладзе, в способности осознать возможности решающего поворотного момента в общественной жизни и, не отрекаясь от веры и убеждений, отказаться от сектантской ограниченности.

Понять, по выражению Достоевского, «в чем наша общность, где те пункты, в которых мы могли бы все, разных направлений (подчеркнуто мною. — Б. Л.), сойтись», — вот духовная задача ближайших лет.

Без ее успешного решения любая театральная идея последнего времени обречена на провал.

* Происхождение сего слова: остроумный человек показывает шиш и говорит язвительно: съешь, а догадливый противник отвечает: сам съешь. (Замечание для будущих или даже паркетных дам, как журналисты называют дам, им незнакомых.) Примечание Пушкина.

ДЕНЬ, УВИДЕННЫЙ В ОКНО



Софьей Георгиевной Халецкой мы перезваниваемся. Она делится своими планами, рассказывает о том, что успела нарисовать, что увидела.

— Вы просто не представляете, Саша, какой вчера утром был необычайный расцвет. Хмарь какая-то зеленая, и вдруг в нее погружается солнце. Небо словно изнутри вспыхнуло. Такими нереальными стали вокруг все новостройки... Я попробовала это сегодня нарисовать, несколько отпечатков сделала, но, кажется, не очень получилось...

Монотипия. Этим видом графики занимается художница долгое время. Принцип известен — стекло и краска. Лучше типографская. А дальше идет уже поиск собственной манеры, собственного почерка, и здесь важным становится все — сорт и качество бумаги, грунтовка, техника наложения краски на стекло. «Работа всегда бывает жива своей нескладностью, тонкой взвесью света и воздуха, которые должны непременно в ней ощущаться», — рассказывает художница. — Я порой один и тот же сюжет по несколько раз переписываю, пока не добьюсь необходимой атмосферы...

«Портрет девушки», «Автопортрет в соломенной шляпе», «Вид из окна», «Зимний пейзаж», «Натюрморт», «Букет цветов на окне» (опять окно!), «Рябина»... Окно притягивает, потрясает — за ним простор, новые люди, чья-то жизнь. Вот уже сорок лет Софья Халецкая не встает с постели — полиомиелит. Живопись, именно она спасла девочку.

В войну ее семья эвакуировалась из Ленинграда в Новосибирск. Здесь прошло ее детство, здесь, когда приключилась беда (а маленькая Софья училась тогда в четвертом классе), пришли к ней на помощь добрые и отзывчивые люди, помогли поверить

в себя, преодолеть отчаяние, поверить в жизнь. После окончания средней школы она брала консультации в местной художественной школе, потом заочно училась в народном университете искусств. В 1975 году в Новосибирске прошла первая персональная выставка Софьи Халецкой, помогли местные художники, организовали зал, оформили работы. На следующий год она принимала участие в областной выставке.

Но ведь художник нуждается все время в новых впечатлениях, и никакой телевизор помочь тут не сможет. Тогда, в Новосибирске, помогли друзья. На руках они принесли ее в театр и... как будто взорвалась действительность — навсегда вошел в ее сознание балет. Уж сколько прошло лет, а воспоминания до сих пор свежи. Они выливаются все в новые и новые работы.

В Москве Софья Халецкая жила сначала в Солнцево. Природа там буквально заглядывала в окна, хорошо рисовалось, дышалось полной грудью.

Несколько раз обращалась художница к столичным профессионалам. Однажды, поборов естественную стеснительность, написала письмо в Союз художников, но... Какой может быть реакция на такое письмо? Вы, наверное, понимаете. Помощи или хотя бы внимания она не дождалась. А сделано немало, хочется выставить работы — показать их людям. Да и тяжело ей одной. Стена. Глухая стена.

Кстати, рядом с ее домом в Раменках расположен новый выставочный зал. Районный. Вот бы там ее выставку организовать!

Знакомство с живописью для юной Софьи началось с цветных вкладок «Огонька». Я рад представить сегодня ее работы читателям журнала.

Александр ШАТАЛОВ

Константин БАРЫКИН

ПРОШУ СЛОВА!

БЕЗ ПРАВА ВЫБОРА?

Мне говорят: лучшие мужские рубашки, и строгие, под галстук, и легкомысленные, на инопочках, и всех иных моделей, фасонов, разновидностей, шьют в объединении «Москва». Кто на втором месте? А никого. «Москва» — монополист, других рубашечных фабрик в столице нет. То, что шьют на прославленном предприятии в Тирасполе, до Москвы не доходит. Рубашки из Ленинграда, Риги, Минска тоже не попадают на московский прилавок.

Так что не с чем сравнить. Иногда мелькает что-то очень элегантное с заморским ярлыком, но и рассмотреть толком не удается, в момент раскупают. На то, чтобы в самом небожном магазине продать венгерского производства рубашки, нужно час-полтора. Моделями «Москвы» забиты магазины, но это не волнует, потому что и эти рубашки тоже купят...

Купят, ибо у покупателя нет выбора. Вашей и моей покупкой распоряжается вовсе не вы и не я, ею командует поставщик продукции. Вот и идет понижение уровня наших запросов. Особо наловчились в «совершенствовании» таких взаимоотношений Министерство легкой промышленности и ведомства, поставляющие сложную бытовую технику. Но не только они. Кому-то в Министерстве лесной,

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности пришла светлая идея: монополизировать производство копировальной бумаги и ленты для пишущих машин. Сосредоточили это хозяйство в объединении «Союз», отсюда и идет эта продукция. Много лет идет — то с переборами, то низкого качества.

— Что значит низкого? — не согласились со мной на предприятии. — Наши изделия на мировом уровне...

Вот бы и поверить. Но машинистки жалуются: и копия нехороша, и лента — тоже. А тут еще представилась возможность сравнения: на прилавки «выбросили» заграничный товар — красивые упановки с бумагой и лента в ладных пластмассовых коробочках. А возможный спор о качестве решил комитет по ценам: за ленту стали брать три рубля, тем самым определив, во сколько раз она превосходит ту, что стоит 44 копейки.

Да, все познается в сравнении. И если наладить обмен товаров между регионами, если те же рижские и тираспольские рубашки появятся в магазинах Москвы, то это позволит в конечном счете полностью удовлетворить покупательский спрос, а может, и улучшить качество продукции — соревновательность всегда этому способствовала.

ПАЛИТРА

**ВНИМАНИЕ МНОГИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ «ОГОНЬКА»
ПРИВЛЕКАЕТ ПРОБЛЕМА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА МОЛОДЫХ.
ВСЕОБЩИЙ ИНТЕРЕС
ВЫЗВАЛА XVII МОСКОВСКАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ ВЫСТАВКА,
КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА
В СТОЛИЦЕ НА КУЗНЕЦКОМ МОСТУ.
В ОСНОВУ ЕЕ БЫЛ ПОЛОЖЕН
ПРИНЦИП ШИРОКОГО ПОКАЗА
ВСЕХ ТЕЧЕНИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ.**

ДОВЕРЯЯСЬ МОЛОДЫМ

Андрей КОВАЛЕВ

Время теперь динамично, и то, что вызвало споры в конце 1986 года, весной 1987-го казалось уже вполне очевидным. Демократизация художественной жизни сказалась и на Всесоюзной художественной выставке произведений молодых художников «Молодость страны». Но многое из того, что происходило на самой выставке и вокруг нее, внушает определенные опасения. К тому же громко декларированный принцип широкого показа соседствовал с плохо скрываемым раздражением по поводу того, что «происходит с молодыми»...

Выставком принимал практически все интересное — с точки зрения формы и содержания. Из всего того, что было представлено — а это колоссальное количество произведений, — почти все достойное внимания вошло в экспозицию. Так, может, стоит с легким сердцем констатировать процесс перестройки? Нет, не стоит.

Дело тут и в пестроте самого молодежного искусства, в ситуации, когда многие художники объединяются скорее по пристрастиям формальным, нежели по художественным. По-своему парадоксальна и широта принципов отбора, вследствие чего по-настоящему значительные произведения оказываются в одном ряду с произведениями серыми.

На прошлых выставках в Манеже можно было смело говорить о единстве и многообразии творческих устремлений. Об этой выставке такого не скажешь. Калейдоскопичность есть, но единства никакого. Многие тенденции не только резко отличаются, но и прямо противостоят друг другу.

Из тех тенденций, или направлений, которые мне кажутся наиболее перспективными, хочу указать на две: та, которую можно назвать «новой социальностью», и то направление, для которого характерно стремление к

развитию и сохранению достижений нового живописного языка.

Но разве наше искусство не было всегда озабочено социальными проблемами? Увы, лишь теперь стало как-то особенно ясно: длительный период замалчивания реальных и острых проблем жизни тяжело сказался на изобразительном искусстве. Художники, если судить по выставкам, в подавляющей массе пребывали в атмосфере казенного благодушия.

А ведь в отечественной культуре есть богатые традиции искусства социально направленного. Сразу вспоминаются передвижники, но и после них — в 1920-е, а затем в начале 60-х годов целые группы художников выступали с весьма активных гражданских позиций.

Правда, это вовсе не означает, что сегодняшние проблемы следует непременно выражать языком Перова, Дейнеки или Попкова. И очень показательно, что именно молодые художники пошли по пути разработки остросоциальной тематики, находя и нетрадиционные формы, и свой, приспособленный к новым идеям, художественный язык. Пусть он кажется слишком резким, но зато на нем можно напрямую говорить о проблемах, волнующих общество в целом. Бывают в жизни моменты, когда художник с полным основанием может сказать: «Красота спасет мир», — но иногда важнее оказывается лозунг «Не могу молчать!».

Грешно упиваться сладкими закатами, красотой полей и березовых рощ, когда этой самой красоте прямо угрожают беспечность, нерадивость или корысть. Так возникают новые формы, к примеру, «экологический пейзаж». К числу наиболее заметных произведений подобного рода принадлежит большой диптих художника из Иркутска А. Москвитина «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», левую часть которого занимает мастерски и нетрадиционно написанный пейзаж, изображающий



Хута ИРЕМАДЗЕ. Род. 1952.
(Тбилиси).
ТЕАТР.
1987.

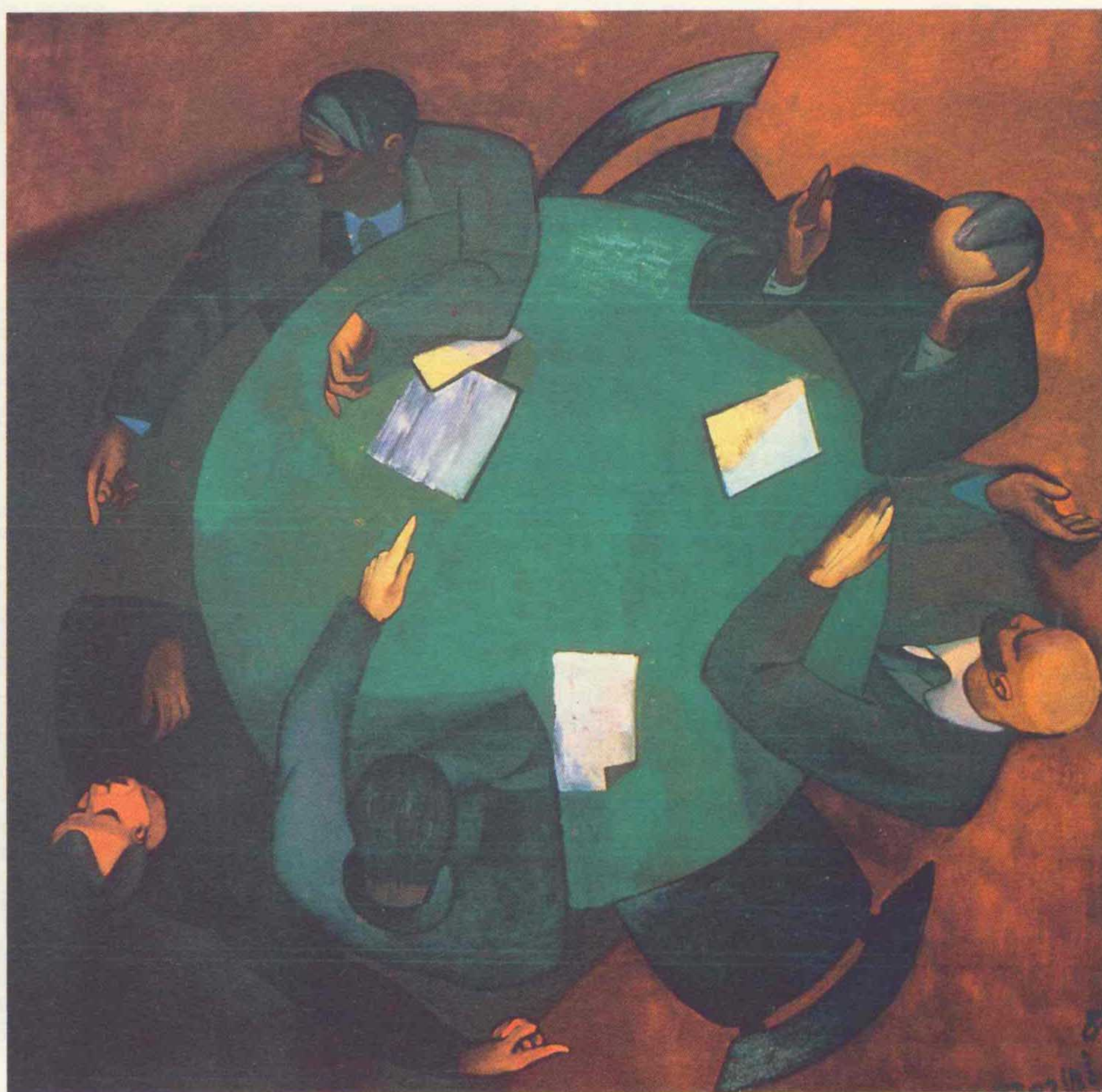
могучую, пока еще нетронутую сибирскую природу, а правую — чадающий ядовитыми испарениями, горящий огнями комбинат-отравитель. Голос художника возвышается здесь до прямой публицистичности. А разве не глобальным предупреждением, страстным воззванием ко всему роду человеческому стал полиптих москвича М. Кантора «Чернобыль. Звезда полынь» — одно из открытий выставки.

Стало общим местом, когда речь заходит об искусстве молодых, говорить об их оптимизме. Как-то слишком долго мы открещивались от всего, что может испортить наше безоблачно хорошее настроение, хотя трагического в нашей несовершенной жизни вполне достаточно. И говорить об этом надо. Молодежь активно пытается выразить социальные проблемы нашего общества, прибегая для этого к метафорической образности («Похороны» и «Урок гражданской обороны» душанбинца Ю. Вайса), острому гротеску («Дискуссия» К. Зариньша, «Аплодисменты» П. Грюшиса). Этика художника не позволила веселенькими красочками живописать «Сирот» (латвийский художник Я. Митревец), «Беженцев» (москвич Л. Табенкин), детдомовцев («Детдом 20-х годов» оренбургского художника В. Ефарицкого). Не все гладко в самой художественной ткани произведений, о которых

Каспар ЗАРИНЬШ. Род. 1952.
(Рига).
ДИСКУССИЯ.
1987.



Рауль РАЯНГУ. Род. 1960.
(Таллин).
СНЕГОВИК НАД АНАТОМИЧЕСКИМ ТЕАТРОМ. 1986.





Асим САМЕДОВ. Род. 1955.
(Баку).
ДЕВОЧКИ НА СЕНЕЖЕ.
1986.

идет речь. Голос, поднявшийся до подлинного пафоса, ломается, порою срывается на фальцет. Но привлекает прежде всего честность, открытость реальному, а не выдуманному миру.

Существуют и вечные, незыблемые человеческие ценности, именно они, как это можно заметить на выставке, доступнее всего выражаются в оптимистичных, ярких красках. Мастерски владеет красочной палитрой бакинец А. Самедов, с завидным жизненным оптимизмом и темпераментом строит свои работы грузин Д. Кухалашвили (картина «Семья»), изысканны по колориту и композиции картины эстонца Р. Кельпмана, праздничны большие и яркие полотна Г. Серова. Такие работы, увы, редко привлекают внимание широкого зрителя. Глаз, воспитанный на теле- и фотоизображениях, привыкший воспринимать лишь сюжетную сторону, с трудом приравнивается к своеобразной эстетике «живописного делания». Однако не хотелось бы выстраивать жесткие противопоставления, и первая, и вторая тенденции требуют серьезного, внимательного отношения, работы ума и сердца.

Как воспринимают и отражают художники молодежные проблемы? С первого взгляда кажется, что здесь-то все просто. Сложился даже какой-то «дискоотечный стиль», в котором приметами молодости являются розовые штаны, кучерявые прически и

современная радиоэлектронная аппаратура. Но здесь, думается, подлинное подменяется внешним жизнеподобием, навязчивой простотой ассоциаций. Таких работ, к сожалению, немало.

Гораздо более соответствуют, на мой взгляд, современному состоянию умов нашей молодежи непривычные работы тех, кого порою числят в разряде «неоавангарда».

По отношению ко всему, что непонятно, мы нередко стремились подыскать аналог где-нибудь за рубежом и толковать это как тлетворное влияние. Но желание поразить, так ли уж оно порочно в искусстве? Целые течения в живописи XX века, в том числе и в России, без удержу эпатировали, ерничили и, однако же, вошли в историю. Правда, сегодняшней эпатаж чаще всего, кажется, заключается в огромных размерах холстов. К примеру, поражающая воображение «Печаль Клеопатры» киевских художников Сенченко и Савадова явственно теряет все свои претензии, если ее уменьшить в три раза. Впрочем, в «Клеопатре» объективно привлекают и хорошо продуманный монументализм внутреннего устройства, свобода в решении формальных проблем и веселая энергия провинциального гаерства.

В последнее время часто говорят о кризисе художественного мастерства, имея в виду как раз по преимуществу подобные работы. Напротив,

страдает большая тематическая картина в ее законсервированной с сороковых годов форме. Это наглядно видно на большом полотне С. Боcharова «Первый поезд. Групповой портрет молодых строителей БАМа», где наивность композиции и вялый рисунок с неумолимой очевидностью разрушают заявленную тему.

Нас долго приучали к мысли о том, что главное в искусстве — сохранять, оберегать однажды найденную форму изображения, которую можно по ходу дела наполнять новым содержанием, почерпнутым из неуклонно изменяющейся жизни. Все непривычное, хоть сколько-нибудь отступающее от принятой формы, сразу же объявляется отступлением от заветов учителей. Печально такое понимание искусства, когда в поисках новой образности приходят лишь к мифической вседозволенности, а не к утверждению активной гражданской позиции.

Анализируя работы молодых, невольно приходишь к выводу, что, несмотря на всю пестроту, многообразие течений и направлений, много здесь вторичного, подражательного. Говорить о том, как от этой «детской болезни» излечить наше молодое искусство, можно будет только тогда, когда процесс формирования художников мы станем наблюдать не от случая к случаю, а на регулярно и часто устраиваемых выставках молодых.



Перед читателем дневника проходит вся сознательная жизнь человека, 23 года стоявшего по воле судьбы во главе обширнейшего государства. Из дня в день, перед сном или утром после завтрака заносил он в дневник наиболее примечательные, с его точки зрения, факты и события. И встает со страниц дневника образ ограниченного, жестокого, равнодушного к народным нуждам правителя, непримиримого поклонника самодержавия, религиозно-мистически настроенного обывателя, склонного к праздной жизни, к вину, азартным играм, охоте и «тихим семейным радостям» вроде чтения вслух исторических романов и наклейки в альбомы фотографий.

Первые дневниковые записи четырнадцатилетнего наследника престола — это описание игр и учебных занятий. С 1887 года в дневник вплетается описание излюбленных для всех мужских представителей романовской семьи военных занятий, смотров и парадов. Военную стажировку наследник престола проходил под руководством своих дядей-князей в Преображенском и лейб-гвардии гусарском полках. Офицеры их славились пьянством и разгулом. Военные занятия наследника чередовались с попойками.

5 июля (1887): «12 ч. начался очень веселый ужин у нас в полку для д. Сергея. После ужина вышли в сад и тут пили джонку с песнями... Лег спать в 3 часа утра». 11 июня 1889-го «...началось с еды, с питьем кахетинского; разумеется, с песнями и джигитовкой. После я не помню, что со мной было; знаю, что жестоко травмило». 12 января (1890): «...Порядочно нализались и изрядно повеселились». Через день: «Пили в Преображенском полку», через день — танцы и пьянка, на следующий день — «обед» у кавалергардов с цыганами, затем «ужинали своей компанией», и так далее.

Александр III решил как-то отвлечь наследника престола от столь «веселого» времяпровождения и направил его для общего и умственного развития в заграничное путешествие. Греция, Египет, Индия, Китай, Япония... Везде пьянки, сомнительные увеселения, а иногда и дипломатические скандалы. При посещении храма в японском городке Отсу наследник престола и сопровождавшие его молодые люди вели себя так разнузданно, что при их возвращении на рикшах на узкой улице городка произошел непредвиденный инцидент. «В это время, — записал Николай в своем дневнике, — я получил слабый удар по правой стороне головы над ухом, повернулся и увидел мерзкую рожу полицейского, который второй раз на меня замахнулся саблей в обеих руках. Я только крикнул: «Что тебе?» и выпрыгнул через дженрикушу на мостовую». Наследника довели до дома губернатора, где сделали перевязку. Рана была значительной, поскольку повязку сняли лишь спустя три недели и после нее на верхней части лба остался шрам. «Вот как, благодаря милости бога, — окончил свою дневниковую запись 29 апреля 1891 года Николай, — этот день благополучно окончился». Впоследствии ежегодно 29 апреля царская семья служила благодарственный молебен.

Александр III пытался приохотить наследника к государственным делам. Но скучные отсиживания в Государственном совете и Комитете министров тот в изобилии компенсировал охотой, обедами, посещением театров,

Николай ЕРОШКИН,
профессор, доктор исторических наук

ДНЕВНИК ПОСЛЕДНЕГО САМОДЕРЖЦА

СЕМЬ НЕБОЛЬШИХ
ПАМЯТНЫХ КНИЖЕК
И СОРОК ОДНА ОБЩАЯ ТЕТРАДЬ,
ИСПИСАННЫЕ НЕТВЕРДЫМ,
УБОРИСТЫМ ПОЧЕРКОМ, —
ДНЕВНИК
ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА РОССИИ
НИКОЛАЯ II,
НАХОДЯЩИЙСЯ НЫНЕ В ФОНДЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ОКтябрьской РЕВОЛЮЦИИ СССР.

холостяцкими пирушками, азартными играми: «Обновили вчетвером погребок Козырева. Пили толково». «Продул 200 руб.», «спустил 557 руб». Продолжался и роман с балериной М. Кшесинской.

Подорвав свое здоровье неумеренным употреблением спиртных напитков, Александр III скончался в Ливадии от острого воспаления почек в возрасте 49 лет. Двадцатилетний великий князь Николай Александрович 20 октября 1894 года стал императором России. Уже через день после смерти отца он завел неприличные торги с родственниками, торопя их... со своей свадьбой до похорон отца. 7 ноября гроб с телом Александра III был захоронен в Петропавловской крепости, а 14 ноября в Большой церкви Зимнего дворца состоялось бракосочетание Николая II с дочерью захудалого немецкого гессенского герцога Алисой, принявшей православие и получившей имя Александры Федоровны. Высокая, неестественно прямая, с неподвижным, злым лицом, она зарекомендовала себя как крутая, психически неустойчивая дама.

Молодому императору сразу же пришлось заниматься и государственными делами: «9 ноября. Среда. Встал поздно. Читал до 10 час. Имел доклады д. Миши и Муравьева. Принимал разных иностранцев с письмами и без писем. Отвечать приходится на всякую всячину вопросов — так, что совсем теряешься и с толку сбиваешься». Жалобы на обремененность государственными делами встречаются в дневнике постоянно: «Читал до обеда, одолеваю отчет Государственного совета». «Вечером окончил чтение отчета военного министерства — в некотором роде одолел слона!!!» «Опять начинает расти та кипа бумаг для прочтения, которая меня смущала прошлой зимой...»

После смерти Александра III у некоторых либерально настроенных земских деятелей зародились неясные надежды на более мягкий курс внутренней политики и расширение прав земств. Молодой царь поспешил

рассеять эти иллюзии, подтвердив еще раз незыблемость самодержавия. Об этой первой встрече с представителями господствующих классов записал в дневнике 17 января 1895 года: «Был в страшных эмоциях перед тем, чтобы войти в Николаевскую залу, к депутациям от дворянства, земств и городских обществ, которым я сказал речь». Эта речь царя, опубликованная в «Правительственном вестнике», прозвучала пощечинной либералам. Ее написал воспитатель Александра К. П. Победоносцев и посоветовал положить в барашковую шапку. Держа перед собой эту шапку, царь и зачитал свою «речь», состоявшую из трех небольших фраз.

По древнему обычаю новому царю предстояло коронование, которое происходило обычно в Успенском соборе в «первопрестольной» столице. В дневнике коронационным торжествам посвящено до полусотни страниц. Предусматривалось во время коронования и «народное гулянье» на Ходынском поле с раздачей дешевых гостинцев. Слухи о невиданных царских милостях и дарах привлекли сотни тысяч людей. 18 мая на Ходынском поле произошла давка, в которой пострадало 2690 человек. Царь в панике бежал с поля. Но в тот же вечер в Кремле состоялся блестящий бал. «Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали».

Ходынка стала первой кровавой вехой в царствовании Николая II.

Важным вопросом в самодержавном государстве был вопрос о наследнике престола. В первые же годы царской семье явно не везло: регулярно через год рождались дочери — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия... Об их появлении Николай II сухо сообщал в дневнике. Опасаясь, что трон перейдет к какой-нибудь другой ветви императорской фамилии, царица при согласии царя предприняла энергичные меры: тут были и поездка к чудотворным иконам, и лечение на минеральных водах, и консультации знаменитых врачей, и приглашение разных прорицателей.

С 1899 года при дворе чаще всего стал появляться невысокий мужчина с юркими плутоватыми глазами: француз месье Филипп выдавал себя за ученого по специальности гипноза и «оккультных» наук. Дневник Николая II почти ежедневно регистрирует обращение царской семьи с «другом»: «Филипп говорил и поучал нас. Что за чудные часы... Весь вечер слушаю друга. Имели важный разговор с нашим другом...» А когда Филипп отбыл в Лион 21 июля, то царь с грустью записал: «Нас всех охватило чувство осиротелости!» Чем же прельстил романовскую семью месье Филипп? В Петергофском «нижнем дворце» Филипп собирал членов царской фамилии, вызывал «духов», которые предсказывали, что явившийся на землю наместник Христа (подразумевается сам Филипп) избавит Россию от «бунтовщиков». Через спиритические сеансы и письма Филипп давал советы в области внутренней политики; конституция будет гибелью для России, рекомендовал министров... Царской семье Филипп предсказывал приятные изменения, и прежде всего рождение наследника.

Едва Филипп убрался восвояси, у царской семьи появились новые фавориты, целая вереница «божских людей»: юродивых, кликуш, босоножек, «старцев».

В начале века при царском дворе сложилась влиятельная группировка — «придворная камарилья», толкавшая царя на путь военных авантур на Дальнем Востоке. «Господь да будет нам в помощь!» — записал царь в дневнике, получив известие о нападении японских миноносцев на Порт-Артурскую эскадру. Через несколько дней, узнав о потоплении судов, Николай II небрежно обронил: «Ну знаете ли, я смотрю на это как на укусы блохи». В день получения известия о гибели выдающегося русского флотоводца и ученого, вице-адмирала С. О. Макарова царь записал: «Целый день не мог опомниться от этого ужасного несчастья». На самом же деле, по свидетельству очевидца, возвращаясь с официальной панихиды в царское сельское собрание, Николай II весело здоровался с придворными, отозвал одного из них в свой кабинет и воскликнул: «Какова погода! Хорошо бы поохотиться. Хотите, завтра поедем?» Придворный генерал мог наблюдать царя за любимым развлечением: Николай II стрелял в саду ворон. Зато гибель министра внутренних дел В. Плеве, убитого эсером-террористом Е. Соколовым, вызвала неподдельное горе царя. «В лице Плеве, — записал он в дневнике, — я потерял друга и незаменимого министра вн. д. Строго господь посещает нас своим гневом».

Вскоре огромная радость заслонила для царской семьи и поражение армии на Дальнем Востоке, и гибель Плеве. 30 июля 1904 года родился сын, который был крещен под именем Алексея. «Незабвенный великий для нас день, в кот. так явно посетила нас милость божья», — записал царь. Радость, впрочем, оказалась непродолжительной: ребенок оказался больным гемофилией — неизлечимой наследственной болезнью мужчин гессенской герцогской семьи. Впоследствии медицинские светила определили предельный возраст наследника 18 годами.

Новый, 1905 год царь ознаменовал в дневнике обычной традиционной записью: «Да благословит господь наступивший год, да дарует он России победоносное окончание войны, прочный мир и тихое, безмятежное житье». Но как раз этого-то не случилось. В Россию ворвалась первая революция. 8 января царь записал: «Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестности вызваны войска для усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество

их определялось 120 000 чел. Во главе рабочего союза какой-то священник-социалист Гапон».

В день «кровавого воскресенья» царь бесстрастно написал: «В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных частях города; было много убитых и раненых». Назначенный на пост петербургского генерал-губернатора с диктаторскими полномочиями генерал Д. Трепов решил продемонстрировать «единение царя с народом». По его указанию была подобрана «рабочая делегация» из наименее сознательных и связанных с охранкой рабочих. Перед ними в Александровском дворце Николай II и произнес свою речь. В дневнике это отражено крайне лаконично: «19 января. Среда. Утомительный день... принял депутацию рабочих от больших фабрик и заводов Петербурга, которым сказал несколько слов по поводу последних беспорядков». В конце своей речи царь произнес: «Я верю в честные чувства рабочих людей и непоколебимую преданность их мне, а поэтому прощаю им вину их». Циничное царское «прощение» вызвало бурю негодования во всей стране, способствовало дальнейшему развитию революции.

Армию и флот Николай II рассматривал как основную опору трона. «Ничто так меня не подбадривает», писал он в дневнике летом 1905 года, «как посещение военной части...» Восстание на броненосце «Потемкин» изумило и расстроило его: «Получил ошеломляющее известие из Одессы о том, что команда пришедшего туда броненосца «Потемкин Таврический» взбунтовалась, перебила офицеров и овладела судном, угрожая беспорядками в городе. Просто не верится!» 20 июня он в гневе записал: «Черт знает что происходит в Черноморском флоте... Лишь бы удалось удержать в повиновении остальные команды эскадры! За то надо будет крепко наказывать начальников и жестоко мять техников».

Занятый борьбой с революцией, Николай II довольно равнодушно воспринимал гнетущие известия о поражении армии и флота России на Дальнем Востоке. «На то значит воля божья!» — пояснил он при получении известий о сдаче Порт-Артура 21 декабря 1905 года. «Господи! Что за неудачи!», — констатировал, узнав об итогах Мукденского сражения, а после Цусимы поспешил заказать заупокойные официальные обедни и панихиду. Получив сообщение от С. Ю. Витте о завершении переговоров о мире и предполагаемом договоре, Николай II написал: «Это, вероятно, хорошо, потому что так должно было быть!»

Подъем революции летом 1905 года заставил царя пообещать созыв Государственной думы. К 13 октября вся страна была охвачена всероссийской политической стачкой. Царская семья оказалась изолированной в Петергофе, и связь с Петербургом поддерживалась лишь двумя миноносцами. Поговаривали даже о бегстве царской семьи в Германию, и император Вильгельм II, приходившийся Николаю II двоюродным братом, любезно обещал выслать для эвакуации Ники, Аликс и их детей крейсер или миноносец. В своем дневнике Николай II характеризовал 14 и 15 октября как «очень занятые дни». Закрывшись в кабинете, он и Витте целый день обсуждали «программу будущих мероприятий».

17 октября Николай II подписал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка». Этим манифестом царь даровал России буржуазные свободы, признавал Государственную думу законодательным органом и даже обещал расширить избирательные права в нее (подразуме-

вался рабочий класс). Запись того дня: «17 октября. Понедельник... Запечатали Николаша и Стана. Сидели и разговаривали, ожидая приезда Витте. Подписал манифест в 5 часов. После такого дня голова стала тяжелой и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, спаси и утвори Россию». Николай II считал 17 октября 1905 года одним из самых тяжелых дней своего царствования и впоследствии в годовщину манифеста оставил в дневнике следующее: «Годовщина — мучительных часов прошлого года! Слава богу, что оно уже пережито!»

Манифест не остановил нарастания революции. С 11 декабря в царском дневнике появились записи о вооруженном восстании в Москве. «Вчера в Москве произошло настоящее побоище между войсками и революционерами. 15 декабря он написал московскому генерал-губернатору Дубасову: «Надеюсь, что Семеновский полк поможет вам раздавить окончательно революцию... Благодарю вас сердечно. Бог вам в помощь». И, наконец, 19 декабря он с удовлетворением констатировал: «В Москве, слава богу, мятеж подавлен силою оружия. Главное участие в этом принимали: семеновцы и 16 пехотный Ладжский полк».

Ход революции вынудил царя созвать Государственную думу 27 апреля 1906 года. В дневнике Николай назвал этот день «знаменательным» и подробно описал прием, который он устроил членам думы и преобразованного Государственного совета в Георгиевском зале Зимнего дворца. «После молебна я прочел приветственное слово... Занимался долго, но с облегченным сердцем, после благополучного окончания бывшего торжества». Автор умолчал, что на его бесцветную и бессодержательную речь члены думы ответили полным молчанием. Поставленные на заседания актуальные вопросы революции (в том числе аграрный вопрос) разочаровали царя окончательно, и он поспешил распустил думу, просуществовавшую всего 72 дня. 9 июля 1906 года Николай II с ликованием сообщил: «Свершилось! Дума сегодня закрыта. За завтраком после обедни заметны были у многих вытянувшиеся лица. Днем составлялся и переписывался манифест на завтра; подписал его около 6 час. Тогда была отличная погода».

На продолжавшиеся революционные выступления верховный правитель России ответил актами жестокости. Было подавлено восстание на Балтийском флоте (Свеаборге, Кронштадте, на крейсере «Память Азова»). В августе 1906 года он выступил инициатором создания военно-полевых судов. Царь охотно прощал и миловал погромщиков и убийц революционеров, но был беспощаден ко всем, кто выступал против существующего строя.

Поглядывая из кабинета Петергофского дворца на мутные волны Балтики, Николай II изрек: «А хорошо бы было взять всех революционеров, да утопить в Финском заливе».

В условиях спада революции в начале 1907 года правительство провело выборы во вторую Государственную думу, состав которой оказался даже левее первой. Царь не пожелал устроить прием думы в Зимнем дворце и поручил открыть ее заседание чиновнику из Государственного совета. Вскоре Николай II и председатель Совета министров П. А. Столыпин стали готовить разгон и второй Государственной думы. Это произошло 3 июня. В этот день царь записал в дневнике: «Простояла чудная погода. Настроение было такое же светлое по случаю разгона думы». На следующий день: «Слава богу, уже второй день после роспуска думы, всюду полнейшее спокойствие!»

Начались годы мрачной столыпин-

ской реакции. Дневниковые записи Николая II потеряли свою остроту и приобрели более бытовой характер.

Несколько раз с лета 1906 года царская семья виделась с Григорием Распутиным. Сибирский крестьянин Григорий Распутин имел на родине нелестную репутацию конокрада, пьяницы и бездельника, но благодаря знакомству с некоторыми представителями высшего духовенства и с их рекомендациями появился в столице еще осенью 1904 года. Негласный духовник царской семьи, инспектор духовной академии Феофан представил Распутина мистически настроенной жене великого князя Петра Николаевича Милице, а та поспешила рекомендовать его царю: «Попросите его о чем хотите, он помолится, он все может у бога». В том же убеждала царя и ее любимая фрейлина Анна Вырубова. Дача Вырубовой — «домик» в Царском Селе стал местом собрания экзальтированно-религиозных поклонников и поклонниц 42-летнего «старца» Григория. Зимой местом встреч была квартира Вырубовой в Петербурге. Часто навещала его и царская семья. Дневник Николая II особенно с осени 1908 года часто упоминает эти встречи. В 1909—1910 годах визиты Распутина к царской семье в Петергоф, Царское Село и даже в Ливадии приняли систематический характер. Царский дневник не раскрывает содержания бесед с Распутиным — «долго беседовали», «имели удовольствие видеть», «имели удовольствие видеть» — стереотипные выражения многочисленных упоминаний в эти годы. Однако, судя даже по этим записям, царская семья готова была часами выслушивать Распутина, и сам всемогущий председатель Совета министров Столыпин не раз дожидался в приемной перед царским кабинетом окончания беседы Николая II с Григорием.

Дневниковые записи Николая II заполнены описаниями обедов, приемов, смотров, парадов, охот (с обязательным перечислением количества убитых лично Николаем II рябчиков, вальдшнепов, «тетеревей», лисиц).

Глухо и равнодушно откликнулся автор дневника на смерть председателя Совета министров П. А. Столыпина. Такое равнодушие к гибели своего верного друга и слуги объясняется известным разочарованием в Столыпине, который, несмотря на политику жесточайшего террора, не смог остановить рост революционного движения.

Более 40 страниц дневника за 1913 год заполнены описанием торжеств празднования 300-летия дома Романовых в Петербурге. По их окончании царская семья вновь обосновалась в Царском Селе. «Выехали в свой дом», — записал царь 28 мая, — с отчаянным чувством исполненного долга по милости божьей». Все потекло по-старому, только посещения Распутина участились и влияние его возросло еще больше.

Вступление России в мировую войну Николай II отразил довольно будничной записью: «19 июля. Суббота. Утром были обычные доклады. После завтрака вызвал Николашу и объявил ему о его назначении верховным главнокомандующим вплоть до моего приезда в армию. Поехал с Аликс в Дивеевскую обитель. Погулял с детьми. В 6,5 поехал ко всенощной. По возвращении оттуда узнал, что Германия нам объявила войну...»

Последующие записи заполнены довольно восторженными описаниями «подъема духа» подданных: молебнов, манифестаций, приветственных телеграмм, приемов и проч. 22 июля царь с удовлетворением отметил начало войны Германии с Францией, 23 июля — между Англией и Германией. «Лучшим образом с внешней стороны для нас кампания не могла начаться», — заключил он. И, наконец, записи в дневнике 24 июля: «Сегод-

ня Австрия наконец объявила войну. Теперь положение совершенно определилось. Записи о событиях на фронте мало отличаются от военных описаний периода русско-японской войны. Это, как правило, довольно равнодушные информации о поражениях и успехах русской армии. Время от времени царь выезжал в Ставку, помещавшуюся в Барановичах, где заслушивал доклады верховного главнокомандующего и чинов его штаба. 31 октября из Ставки Николай II приехал в Ивангород, где проходила линия фронта. Осмотр позиции произвел на него великолепное впечатление. «Видеть все это, — записал он, — было захватывающе — рядом с окопами в поле и в лесу были разбросаны могилы наших героев с крестами и надписями на них... Впечатления всего виденного за оба дня самые сильные и глубокие». Сколько в этих восторженных строках российского императора жестокости и безразличия!

Поражение русской армии весной и летом 1915 года усилило германофильские настроения при царском дворе. В придворном кружке, во главе которого стояли императрица Александра Федоровна и Распутин, считали, что путем заключения сепаратного мира с Германией можно выйти из хозяйственных трудностей, пресечь оппозиционные настроения буржуазии, расправиться с нарастающим массовым движением и таким путем укрепить монархический строй в России. Опасаясь противодействия Ставки, царица уговорила Николая II произвести замену высшего руководства армии, и 23 августа царь сместил с поста верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, назначив на этот пост себя. Дневник царя очень глухо отражает все события. 22 августа царь отправился в Ставку. «Господь да благословит поездку мою и решение мое!» — записал он в дневнике. 23 августа: «Все обошлось хорошо!» На следующий день: «Господи, помоги и вразуми меня!»

За 21 неделю пребывания на посту верховного главнокомандующего в 1915 году Николай II находился в Ставке примерно 9 недель, а в Царском Селе — около 7 недель (остальное время он провел в разъездах, инспектировании, смотрах формирующихся частей в тылу). За 14 месяцев в 1916 и начале 1917 года (до отречения Николая II от престола) пробыл в Ставке 7 месяцев и более 4 месяцев жил в Царском Селе. Такое «раздвоение» Николая II между верховным командованием и семейным очагом вредно отражалось на руководстве армией.

При любом очередном наезде в Царское Село царь спешил встретиться с Распутиным и проводил в беседах с ним целые вечера. Все его советы по вопросам управления государством воспринимались Николаем II как указания. Распутин и его окружение назначали и смещали министров, губернаторов, командующих фронтами, оказывали влияние на ход военных операций, на всю политику государства.

Дворянские оппозиционные круги считали, что близость Распутина компрометирует царскую семью, окончательно подрывает авторитет царя, грозит гибелью монархии. Группа заговорщиков (Ф. Юсупов, В. Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович и другие) решили устранить Распутина. Под предлогом пьяного кутежа в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года они заманили Распутина в дом царского родственника Ф. Юсупова и убили его. Николай II по телеграфному вызову царицы выехал из Ставки для похорон своего любимца. «В 9 час., — записал царь в дневнике, — поехали всей семьей мимо здания фотографии и направились к полю, где присутствовали при грустной кар-

тине: гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 дек. извергами в доме Ф. Юсупова; он стоял уже опущенным в могилу. О. Ал. Васильев отслужил литию, после чего мы вернулись домой».

Известия о революционных событиях в Петрограде царь получил по телеграфу еще 25 февраля от командующего войсками Петроградского военного округа генерала Хабалова; 26 февраля они были подтверждены телеграммами председателя Совета министров Н. Д. Голицына и председателя Государственной думы М. В. Родзянко. Однако в дневнике Николая II 25 и 26 февраля никаких следов эти известия не оставили. И лишь 27 февраля, когда фактически в Петрограде победила революция, возникли Совет рабочих и солдатских депутатов и Временный комитет Государственной думы, царь записал: «В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад. К прискорбию в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия! Был недолго у доклада. Днем сделал прогулку на шоссе на Оршу. Погода стояла солнечная. После обеда решил ехать в Ц. С. поскорее и в час ночи перебрался в поезд». Рано утром 28 февраля царский поезд покинул Могилев. «Стыд и позор! Доехать до Царского не удалось. А мысли и чувства все время там! Как бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать все события. Помоги нам господи».

Дневниковая запись 2 марта рассказывает о событиях последнего дня правления императора России: «Утром пришел Рузский и прочел свой длинный разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется соц. дем. партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение... Я согласился. Из Ставки прислали проект манифеста. Впрочем из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест».

Николай II отрекся в пользу брата Михаила, но тот, трезво взвесив обстановку, уже на следующий день отказался «воспринять» престол.

После отречения Николай Романов направился в Ставку, но 8 марта по распоряжению Временного правительства был препровожден в Царское Село, куда и прибыл 9 марта.

После отречения от престола царь и члены его семьи превратились в «граждан Романовых», проживавших в Царском Селе под охраной запасных гвардейских частей. Временное правительство делало все возможное, чтобы спасти Романовых от народного гнева: вело переговоры с английским правительством об эвакуации царской семьи в Англию, были планы «сослать» Романовых в Ливадию.

Николай Романов демонстрировал внешне полную незаинтересованность в событиях: разбирал книги, читал исторические и бульварные романы, скалывал снег под окном крыльца, пилил дрова, а с наступлением весны копал грядки... Но сдержанность бывшего царя была показной. Несмотря на известную предосторожность (в течение нескольких дней после отречения Николай жег письма и бумаги, называя это «приведением бумаг в порядок»), в дневнике прорывается нередко его истинное отношение к событиям за оградой царскосельского парка. Вот запись 18 апреля: «За границей сегодня 1 мая, поэтому наши болваны решили отпраздновать этот день шествиями по улице с музыкой и красными флагами». Особенно волновали бывшего царя всякие перемещения в составе Временного правительства и армии.

«Вчера,— записал он 1 мая,— узнали об уходе ген. Корнилова с должности главнокомандующего Петроградским военным округом, а сегодня вечером об отставке Гучкова, все по той же причине безответственного вмешательства в распоряжение военной властью Сов. рабоч. депутатов и еще каких-то организаций гораздо левее. Что готовит провидение бедной России. Да будет воля божья над нами». Сообщая об июльских событиях: «А где же люди, которые смогли бы взять это движение в руки и прекратить раздоры и кровопролитие? Семья всего зла в самом Петрограде, а не во всей России». Наконец, облегченно и удовлетворенно: «К счастью подавляющее количество войск в Петрограде осталось верно своему долгу и порядок снова восстановлен на улицах». 8 июля он высказывает одобрение тому, что главой правительства стал Керенский. «Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту. Чем больше у него будет власти, тем будет легче».

Ведя подготовку к контрреволюционному перевороту, Временное правительство опасалось, что в результате вооруженных столкновений с революционными рабочими и солдатами в Петрограде и его окрестностях может пострадать проживавшая в Царском Селе семья Романовых. Поэтому было решено препроводить бывшую царскую семью в более спокойное место. Друг Распутина — тобольский архимандрит Гермоген — предложил направить бывшего царя и его семью в захолустный губернский город Тобольск, где Совет не имел никакого влияния, а вся власть находилась в руках губернского комиссара Временного правительства.

Для народных масс эвакуация Романовых в Тобольск создала видимость «ссылки в Сибирь». Эта эвакуация, начатая 31 июля, была завершена к 19 августа. Бывший царь и его семья были помещены в губернаторском доме и пользовались большой свободой и комфортом, что облегчало подготовку всяких заговоров, направленных на организацию побега Романовых за границу.

Известия об Октябрьской революции дошли до Николая Романова к середине ноября. Лишь 17 ноября он записал: «Тошно читать описание в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и Москве! Гораздо хуже и позорнее событий смутного времени». В дневниковой записи следующего дня (18 ноября) он злобно обрушивается на большевиков, заключивших «предательское» перемирие с немцами.

Весной 1918 года бывшая царская семья была переведена из Тобольска в крупный пролетарский центр Екатеринбург и была размещена с более суровым режимом — в доме купца Ипатьева. Все это ограничивало возможность побега Романовых. Но Николай Романов все еще надеялся. Предаваясь грустным воспоминаниям в годовщину отречения 2 марта 1918 года, он задавал себе вопрос: «Не знаешь ли на что надеяться, чего желать?» И сам отвечал: «А все-таки никто как бог! Да будет воля его святая!!!»

Ссылка бывшего царя на бога имела вполне земные основания. Известно, тайно Романовы получали сведения о подготовке заговорщиками их «освобождения». 14 июня Николай Романов писал: «Провели тревожную ночь и бодрствовали одетые... Все это произошло оттого, что на днях мы получили два письма, одно за другим, в которых нам сообщали, чтобы мы приготовились быть похищенными какими-то преданными людьми».

Дневник бывшего российского императора внезапно оборвался на краткой, чисто бытовой записи 30 июня. Последней ее строкой была фраза: «Вестей извне никаких не имеем».

ВОЙСКА
ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
НА ДВОРЦОВОЙ
ПЛОЩАДИ
ПЕРЕД
ЗИМНИМ
ДВОРЦОМ.
ПЕТРОГРАДА
4/17/ИЮЛЯ.



БРАТАНИЕ
РУССКИХ
И НЕМЕЦКИХ
СОЛДАТ.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
ПАТРУЛЬ
У КОСТРА
НА УЛИЦЕ
ПЕТРОГРАДА.





17

Необходимо во что бы то ни стало задержать перевозчика наркотиков, который представился Ростиславу Знаменскому киносценаристом Петром Сушковым. Ростислав беседовал с ним, случайным попутчиком, в самолете, когда по просьбе Ашира Атаева отправился в отдаленные районы Туркмении для сбора сведений о посевах опийного мака. Никто, кроме Знаменского, не может опознать этого киносценариста. Поэтому Ростислав улетает в Москву, поступает на работу в Госкино и ищет преступника среди зрителей закрытых просмотров иностранных фильмов. Старший лейтенант милиции Брагин знакомит его со своими друзьями-десантниками, опаленными огнем войны в Афганистане. Только досадная случайность помешала им арестовать преступника. Они улетают в Туркмению, где Меред напал на след производителей наркотиков.



Нашелся старозаветный ИЛ-14, уже направленный, чтобы утром лететь куда-то в район, нашелся экипаж дежурный, согласившийся «скатать до столицы» ночью. Всех в аэропорту заворожили эти суровые парни в распахнутых робах, здесь знали, что это за народ такой, здесь, на этой земле, начиналась приграничная зона, незримые, но близкие полыхали взрывы ирано-иракской войны и этой, необъявленной, но кровью заявленной войны в Афганистане. «Группа захвата!» Это были грозные два слова и пронзительные для женских сердец диспетчеров, да и для мужественных сердец штатских летчиков. Полетели! ИЛ-14 летел медленно, телегой казался в небе, но дорога была мягкая, колдобин было мало, и грозные пассажиры успели в пути вздремнуть. Задремал и Знаменский, уткнувшись в плечо Мереди. А тот не спал, все томился, верна ли его догадка, не зря ли весь шум-бум поднял. — Понимаешь, — бормотал он. — Голое лицо, а старик, а халат, а тибетейка. Такие старики от-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 31—36.

Лазарь КАРЕЛИН

Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА

РОМАН

ДАЮ УРОКИ-2

куда у нас? А Какабай как раз с голым лицом. Слушай, все хотел спросить, что с твоим лицом? У вас там в Москве бои идут?

— Наткнулся на линию высокого напряжения, — из сна отозвался Знаменский. Из сна, где была Светлана. Это она его спрашивала: «Скажи, что с твоим лицом?» И это ей, поднатужившись, сыскал столь остроумный, уклончивый и мужественный ответ Знаменский: наткнулся, мол, на линию высокого напряжения.

Прилетели. Аэропорт Ашхабада был в пред-рассветной тьме, когда небо еще черно, но уже набрякло для того, чтобы раствориться в солнечных лучах, которые следует ожидать с мгновения на мгновение. И тогда грянет утро, как водится в этих предгорных краях, где ночь и день наступают внезапно. И покуда шли, вытянувшись цепочкой, долго шли к зданию аэропорта, так как маленький их самолет не смел близко подрулить, солнце и грянуло. Ночной воздух, будто его громадной метлой подхватили, стал, клубясь, убывать с летного поля, утренний, нагретый уже в пустыне воздух нахлынул.

Все сразу вспомнил Знаменский, вдохнув этот миндалевый и с песочком воздух, все вспомнил, и этим всем была Светлана. Он мог ее встретить теперь в любую секунду. Оглянется, а вот и катит машина «Скорой помощи», всмотрится, кто там сидит в белом халате рядом с водителем, —



а это она сидит. Выходи навстречу машине, поднимай руку, а вот и она. «Здравствуй, Светлана. Я приехал...» Дальше слова не придумывались. Ну, приехал... А дальше-то что?.. И он не к ней приехал, случайно так вышло, что он здесь. Он приехал ловить какого-то круглого Какабая. Но нет, он к ней приехал, никаких не бывает в жизни случайностей, а если и бывают, то это где-то все же начертанные решения, кем-то начертанные, судьбой назначенные. Случайность — это судьба.

А пока, вскочив в армейский вездеход, который уже ждал их, покатила вся группа, ну, захвата, захвата, — они и сами теперь поверили, что они «группа захвата», — помчалась вся группа в город. Старшой, сев рядом с водителем, а это уже был местный милиционер, сержант, трудно разлеплявший невыспавшиеся узкие глаза, и его начал заряжать на скорость, напористо повторяя:

— Быстрей! Быстрей!

Мереди знал, где в Ашхабаде стоит дом Какабая. Да и Ашхабад Мереди знал преотлично. Улиц он не называл, он лишь кричал, свесившись к кабине, куда свернуть.

Сперва, разумеется, очутились на проспекте Свободы, пересекающей весь город улице, которую Знаменский узнал, хотя и сюда пришла осень, проредив деревья. Но что это была за осень, если сравнить с московской, которую уже навещал снежок. Тут даже в столь ранний час уже начинало припекать солнце. Не неистовое, а кроткое. И благоухал город, еще не задымившийся машинами, пробуждались во всех садах и скверах, во всех дворниках, цветы, все больше розы, это был город, где легко жилось розам. Но это был город, где убили Ашира Атаева и где предстояло Знаменскому совсем уже скоро опознать некоего круглого человека, который подкатился к нему в Небит-Даге, который, так вышло, и «засветил» Знаменского, пробил тревогу. Кольнуло в бок. Это был город, где его ткнули в бок ножом, чтобы убить, и убили бы, если бы не заглохнул его Ашир. И это был город, где в любое мгновение могла выехать навстречу их грузовику машина «Скорой помощи», в кабине которой...

Они ехали, сворачивая то туда, то сюда, руководимые указаниями Мереди, покуда не вкатили в окраинный переулок, со слепыми от ставен окнами одноэтажных домов, крыши которых были вровень с дувалами. Совсем такой же переулок, как тот, где стояла «временка» Дим Димыча. Да, это был еще и город, где жил Дмитрий Дмитриевич Конопкин, друг его внезапный, хороший, богобоязненный, но в жизни-то смелый, самоотверженный человек. Вдруг да это тот же самый переулок? Вдруг да вот прямо сейчас увидит он своего нового друга Дим Димыча, вышедшего, чтобы подмести поутру у калитки?

Нет, переулок был совсем не тот. Там, где жил Дим Димыч, так плотно ставни не сдвигали, и там раньше просыпались.

— Приехали! — крикнул Мереди, и машина споткнулась и встала на врубленном тормозе. И тотчас все парни в робах оказались на земле, сразу же оцепив домик за высоким дувалом. Кто у двери во двор замер, кто у конца дувала, кто через проулок забежал в тыл дому. Все это было сделано без команды, вроде как по-заученному. Миг — и все были на местах, но никого уже и не было, как-то так получилось, что исчезли парни в робах, сокрылись кто где, ушли в тень.

У калитки остались старшой, Петр Брагин, Знаменский и Мереди.

— Стучи, — негромко сказал старшой Мереду. — И голос подай. Он тебя хорошо знает?

— Всех он хорошо знает. Какабай! Эй, Какабай! Табиб! Эй, табиб! — Мереди уже загодя свел ладони, будто здороваясь. — Прости, дорогой! Эй, очень нужно! — Он усмехнулся, глянув на своих посуровевших спутников. — Он привык. К нему так часто стучат с самого рассвета, а то и ночью. Болезни сердца не ждут. Эй, доктор! Душа горит! Эй!

— Душа, говоришь? — чуть улыбнулся старшой.

— Любая болезнь начинается в душе, — наставительно сказал Мереди. — Эй, спаситель семейного очага!

— Громче! Громче стучи! — сказал Петя Брагин и сам стал молотить в калитку, вшибаясь в нее плечом. — Не выбить! И дувал до небес! Тепло! Тепло! Горячо!

Вдруг за калиткой послышались шаркающие шаги, раздались беспольный, но все же, скорее всего, женский, скрипучий и злой голос:

— Кто ломится?! Приспичило?! Нет дома доктора! К другому кому кати за укол!

Защелкали замки, шаркнул засов, и калитка приотворилась на скупую длину цепочки.

— Это я, Мереди, — сказал Мереди. — Друг Какабая из Красноводска.

— Муж женщины, которая большой начальник? — спросила старуха, появляясь в просвете ка-

литки. Это была такая именно старуха, у которой и мог быть такой скрипучий, ведьминский голос. В седых космах, с ужатым, впалощим лицом. Причудливо она была одета. На ней, наскоро наброшенный на мятую рубаху до пят, повис черный мужской халат, а на седых космах, напозла на лоб, чернела, пугая свастикой узора, мужская тюбетейка.

— Это они! — сказал Знаменский, глянув на Мереди. — Он был в этом...

— Ай, какая ты красивая в этом халате, женщина! — выслал свой голос Мереди. — Как хорошо, что Какабай подарил тебе свой халат и такую драгоценную тюбетейку. Таких теперь не делают.

— Подарил! Дождешься от него! Накинула, чтобы голой не бежать к двери! Ну, что уставишься?! Женщина! Какая я тебе женщина?! Это твоя жена — женщина. Но, смотрю, не очень-то ты верный муж, если замолотил в эту дверь. О, козлы проклятые!

— Отвори-ка, бабуся, калиточку, — вкрадчиво проговорил старшой, думая, что сумел любезно улыбнуться старухе. Но она, глянув на него, отшатнулась, все поняв:

— Обыск?! Достукался проклятый! Я так и знала! Теперь затаскают на старости лет!

— Отвори поскорее калитку... — чуть ли не пропел старшой. — Ну!

Лязгнула цепочка, калитка отворилась, нехотя, будто в тягостном раздумье.

— Обыскать! — гаркнул старшой.

Ураган грянул. Это парни в робах ворвались в дом, в сад, оказались в миг единый повсюду.

— А ордер на обыск? — шепотом, и испугавшись, спросил старшого Мереди.

— С ним, с ним выясняй, со старшим лейтенантом, — сказал старшой. — А с нас какой спрос?

Но старшего лейтенанта Петра Брагина возле калитки уже не было. Он в доме был. И он забыл о своих погонах и обо всех законах.

Дом Какабая был восточным домом. Много небольших комнат, много укромностей. И повсюду ковры, ковры, подушки. Жизнь тут была опущена в покой возлежаний, в полумрак прохлады, когда за крошечными и зарешеченными оконцами, выходящими в сад, мог бы и зной лютовать, а тут, на заглубленном в земле полу, на коврах и прохладного шелка подушках было не жарко, не зной царствовал, а царствовало томление. И мебель была вся к заглубленности приспособлена, на низких ножках стоял у стены самой большой комнаты стол, но так, для проформы стоял, как и пяток стульев у стены же, ни стол, ни эти стулья тут не служили. Тут услужали подушки, приникшие к локтям, уже и форму такую принявшие, чтобы под локоть вскользнуть.

В эту большую комнату из разных в доме укромностей парни сносили все подозрительное, что ими было обнаружено в доме.

Старуха, застыв в черном халате в дверях этой комнаты, руки прижав к серым щекам, большеглазо и зло наблюдала за совершавшимся в доме. Похоже, ее не погром вгонял в злобу, а то, что теперь затаскают, что она и ждала этого конца, на себя злилась сейчас, понимая, что рушится призрачный ее покой, в котором она дожидаясь, дотягивала, прислушивая тут.

В этой комнате, усталой коврами и льстивыми подушками, стоял, но тоже на полу, большой ящик телевизора. Странен тут был, как глаз громадный, экран «Шарпа», дивился, надо думать, этот глаз циклопа на все творившееся здесь, когда среди подушек появлялись люди, чтобы прилипнуть глазами к экрану. Циклоп дивился на этих людей, а они дивились мельканию нагих тел, которые оживали в мутном зраке циклопа. Груды кассет валялись на полу возле видеоприставки. Все было так, почти так, как и там, в том «хитром домике», который разнесли всего лишь в прошлую ночь эти парни в солдатских робах. Разнесли где-то в Москве, потом рванули в Красноводск на самолете, потом рванули на самолете же в Ашхабад. И вот они здесь, в Ашхабаде, где тоже нашелся свой «хитрый домик» и откуда тоже успели ускользнуть хозяева. Все было так, как там. Те же, почти такие же, укромности — комнатухи, откуда сносили сейчас парни разные, какие находили, доказательства тайных тут и мерзких игр, в которые вовлекались молодые души, обрекаясь на гибель. Появились и шприцы, появились и вскрытые ампулы, какие-то пузырьки, какие-то коробочки с таблетками. Убегая, Какабай и те, кто был с ним, явно слишком спешили, они худо замели за собой следы. Остались уликами эти кассеты в телесных наклейках, эти ампулы, уже испытанные, уже одарившие кого-то еще одной дозой безумия. Груды улик на разложенной на полу газете все росла.

— И часто ты бывал в этом доме? — спро-

сил старшой Мереди, внимательно поглядев на него.

— Да ты что?! — взорвался Мереди. — Думаешь, я знал?! Я тут лет десять как не был! А раньше Какабай совсем не так жил. Обыкновенно жил. Ну, богатый! Профессия такая. Я тут у него фильмы крутил. У него свой проектор узкоплечный был. Это еще когда не было видео, этих вот кассеток. И я его любительские фильмы учил снимать.

— Любительские... Смотрю, большое он у вас тут любительство развел. — Старшой нагнулся к телевизору, в видеоприставку которого была заложена кассета, нажал кнопку. — А ну-ка, что он смотрел перед тем, как драпануть?

Медленно стал разгораться громадный экран, вперяя в столпившихся в комнате свой изумленный зрак. И вдруг всеобщий хохот сотряс стены. Все, даже эта старуха с пепельными щеками, все затряслось сейчас от смеха, от хохота. На экране мелькали Волк и Заяц из «Ну, погоди!..».

Так бывает, в страшное, в хмурое вдруг проскользнет какая-то смешная подробность жизни, вообще пустяковый повод всего лишь для улыбки, но все вокруг так напряженно, так хмуро, так безысходно, что повод этот вдруг повергает людей в смех, нет, в хохот, в безудержный приступ веселья, в спасительное раскрепощение.

Знаменский глянул: и Петя Брагин смеялся. Как-то уж очень. Слезы у него выступили на глазах. Он смеялся и плакал. Проснулся он. Так бывает...

— Шутник этот Какабай, — сказал старшой, продышавшись. Выключать «Ну, погоди!..» он не стал. Заяц на экране снова провёл Волка. Смешно. Трогательно. Жить все же еще можно на свете.

— Это я поставила кассету, — сказала старуха. — Когда Какабая нет, я всегда эту кассету смотрю. Не голые же мне смотреть. Тьфу! Срамота! — Она сплюнула и все вспомнила, и лицо ее пепельное снова застыло.

Все вспомнил и Петя Брагин, оборвав в себе смех. Но он проснулся, он теперь иначе глядел, промыслились глаза.

Вдруг как-то уж очень громко захлопали в глубине дома двери, очень громкие, хоть и по коврам, послышались шаги, и в комнату ворвался один из десантников. Роба его была перепачкана землей, руки в земле, он, похоже, разучился говорить, он только рукой показывал за окно, во двор, в сад, где, как бы танцуя, сплели деревья свои оголенные ветви.

— Там! — все же обрел речь парень.

— За мной! — Старшой кинулся в глубину дома, к двери, ведущей в сад.

Хороший это был сад, ухоженный. Невелик, но все тут было, все, чем могла одарить щедрая здешняя земля, если ее напоить. А тут и вода журчала, небольшой вздымался фонтанчик. Деревья уже отдали плоды, лишь кое-где еще убереглись гранатовые шары, оставленные на ветвях для красоты. Они и красили тут все, праздничными фонариками горя в сильных лучах утреннего солнца. И тянулись тут до кромок дувалов, обступивших двор и сад, шпалеры винограда. Множество сортов, как в садоводческом питомнике. Разноцветье вызревших и перезревших лоз было прекрасно, тут сотворялась картина, тут живопись божественная легла на синий фон небес.

И вот тут-то, в этом раю, в самом затененном уголке сада, за беседкой кружевной, где чаек бы из пиалушек потягивать и куда привел всех парень в выпачканной землей робе, была взрыта земля, вырыта какая-то яма, изуродовавшая здешнюю благодать.

— Вот, — сказал парень. — Смотрю, свежая засыпка. Ну, копнул, ну, поглубже взял... Вот...

Старшой и все столпившиеся у отвала свежей земли, наперед напрягшиеся, разом наклонились над ямой. Солнце и сюда проникло прямыми утренними лучами, сразу все давая рассмотреть. На дне ямы, присыпанный землей, странно изогнув тело, лежал человек в очень нарядном костюме, при галстукке, в отличных башмаках, будто в гости собрался. Лица его не было видно, оно было укрыто землей, но Знаменский узнал этого человека.

— «Кани»! — выдохнул он.

Да, это был он, этот «Кани», «Кани мордачи», этот мнимый кто-то, назвавшийся Петром Сушко-вым. Но каким бы мнимым он ни был в жизни, убит он был не мнимом.

Десантник, обнаруживший труп, присел над ямой, приподнял, извлек на свет руку убитого, на которой были часы. Он приблизил ухо к этим часам.

— Еще тикают, — сказал он. — Рука даже еще не омертвела. Часа три назад, так думаю...

— Всем отойти от ямы! — скомандовал старшой. — Ничего тут не трогать! Сержант! — обернулся он к водителю вездехода. — Звони своим

начальникам! Тут прокурор со следователем нужны. Пускай займутся покойником, мы займемся живыми. Быстрее! Быстрее! Далеко этот Какабай и его шайка уйти не могли!

Все отошли от ямы, но Петя Брагин остался. Он не всматривался, не глядел в эту яму. Он поверх глядел. Куда? Поверх, поверх куда-то. «Мне отомщение, и аз воздам».

18

Но, сказав «Быстрее! Быстрее!», старшой стал вдруг медлительным, притормозил вдруг. И походка у него иной стала. Он пошел через сад обратно к дому, крадучись как-то. И он закрутил головой, приглядываясь, он, кажется, даже пригнуваться начал.

— Старший лейтенант! — позвал он.

Петя Брагин проснулся, оглянулся, пошел от ямы.

Позвал старшой только Брагина, но потянулись к своему вожаку все десантники. Подошел к ним и Знаменский. А Меред с сержантом надрывали в доме голоса, втолковывая по телефону о случившемся, вызывали тех, кому следовало сейчас тут быть.

— Прокурора давай! Следователя давай! Оружие для нас прихватите! — кричал кому-то Меред.

— Земля та же, небо, горы те же, повадки те же, — сказал старшой, когда все его парни и Знаменский с ними встали вокруг него и Петра Брагина. — А что это означает?

Все молчали. Командир не советоваться собрал, а ставить задачу. Боевую задачу. Это было ясно.

— Если уж они убирают своего, так, стало быть, с концами решили рвануть. Так?

Все молчали, понимая, что старшой не спрашивает, а сам для себя уточняет задачу.

Всего лишь старшина он был по званию, даже не младший офицер. Офицером тут был Петр Брагин, он и на службе был, а не уволенный какой-то бывший солдат из ограниченного контингента. Да и среди десантников, слушавших своего старшого, были, возможно, бывшие офицеры, не понять, в каких званиях они служили, у них не было погон. Но и у старшого сняты были погоны. Да и не в погонах было дело. Он стал для них старшим, потому, что в бою доказал свое старшинство. Там, там, где все без дураков, где человек виден истинно, как на ладони, — там определилось его право вести людей.

— Мы их подняли в Москве, — продолжал старшой. — Этот «Кани» рванул с перепугу сюда, в их главное логово, без спроса. Московская явка накрылась. Все! Они поняли, что надо срываться. С концами! Раз убили, значит, с концами. Все бросили! Сняли по тревоге номер один. Куда? В горы сейчас лезть поздно. Осень. На горных тропах в это время года даже козлы оскальзываются. Куда? А граница-то рядом, тридцать километров всего — и спасение. Рывок один, скачок — и у своих. Только самолет, я так думаю. Брать решили самолет, полагаю.

— Я тоже так полагаю, — сказал Петя Брагин. — Рванули в аэропорт?

— Погоди. Пойди крикни им по телефону, чтобы все рейсы задержали. Пойди крикни по строже.

— Есть! — Брагин рванул в дом.

— «Кани» этот еще не остыл, еще время у нас есть. С час назад они еще тут были. Ну, поднялись они к аэродрому, но надо им и оглядеться, просочиться. Решиться надо. Время у нас еще есть. И дело тут еще есть. Мы-то знаем с вами их повадки, душманов этих... Раз с концами, значит, заминировать могли. А прокурор со следователем начнут тут шуровать, как у себя в кладовке. Жаль парней. Поглядим, а? Внимание! Минь!

Они были сейчас на фронте, в бою, они вспомнили себя там, на той земле, где еще недавно рвались перед ними мины, а то и в их руках рвались, если чего-то не учел, не распонял, в чем-то ошибся на волосок. Та земля совсем рядом была отсюда. Такое же небо, такие же сады, такой же очерк гор. И убитый, заколотый в углу сада в яме. Война, близкая отсюда, исхитрилась как-то заскочить и в этот двор, минуя сторожайшую границу. Вот так случилось-получилось.

В дом теперь старшой вошел скользящей походкой. Все его парни также заскользили. Похоже было, как они двигались, на то, как ходят посетители музеев, нацепив на ноги войлочные тапочки. Скользя по паркету, мягко ступая, войлочко. И Знаменский так заскользил, вступив в этот музей, в это душманское на нашей земле логово.

Петя Брагин уже там докричался до начальства, уже пригрозил Москвой, как положено, когда

у самого-то не слишком веселые звездочки на погонах.

— И оружие нам привезите! — приказывал старший лейтенант. — Моя группа не успела получить оружие в Москве. Что значит не полагается?! Все они военнообязанные! Могли ведь и призвать! А они без призыва, во имя дружбы! Ясно вам?! Друзья мы! — Брагин бросил трубку. — Меред, у тебя тут есть знакомые в органах? Бумажку они требуют, распоряжение. А если стрелять надо будет? Ну, народ!

— Знакомых полно, — уныло сказал Меред. — Когда выпить и закусить. А ты ставишь вопрос об оружии. Плохо дело. У тебя-то есть?

— У меня есть. И у Знаменского есть. С двумя пугачами в бой пойдем?

— Какой бой? Сбежали. Думаю, в горы, к границе. Самоубийцы! Сейчас в горах не пройти. А где пройдут, там их пограничники встретят. Наше дело сделано, возьмут Какабая наши доблестные пограничники, ручаюсь тебе. Через день-два поглядите глаза в глаза. А тюбетейку и халат он по-глупому дома бросил. Умный, умный, а дурак.

— Сам ты! — Петя Брагин пошел от Мереды, от этого штатского говоруна, который болтал, не ведая, в какую опасность начал вступать здесь вместе со всеми, не ведая, что зажил в зоне смерти. — Они своего прикончили, понял, что это значит? Без стрельбы не обойдется.

Ушел Петя Брагин, скрылся в коридоре, тоже вдруг заскользив, будто в музей вошел.

Там, в конце коридора, сейчас колдовал старшой. Один был впереди. Нет, не один, старуха была с ним рядом. И он ее, взяв под сохлый локоть, выпрашивал негромко:

— А эта дверца куда? А эта дверца куда? В подвал покажи дверь, старая, в подвал.

— Да я там ни разу не была, — упиралась сохлыми, как палки, ногами старуха. Тюбетейка съехала ей на лоб, черный халат волочился по полу. — Туда мне нельзя было.

— Дверь покажи!

— Нет туда двери.

— Как это?

— Нет, говорю. Под ковром вход.

— Показывай!

— Стоим на нем! Вцепилась! Кость сломаешь! Коридор был выслан ковровой дорожкой, плотно подогнанной под плинтусы.

— Так, а теперь отойди тихонько, старая, — сказал старшой и отмахнул в сторону сохлую старуху. А сам замер, раздумывая. — Ты видела, как Какабай эту дорожку поднимает? С какой стороны? Отвечай!

— Не подпускал он меня, когда шел в подвал. Гнал!

— Но ведь подсматривала же? Отвечай! Половину срока попрошу скостить, если правду сейчас скажешь.

— Какой еще срок?! Я в прислугах тут работала! За что срок?!

— Чем платили? Анашой платили? Давно дурманились?!

— Не ваше дело! Сама своей жизни хозяйка!

— Это так, если это жизнь. Ну, с какого края мне ковер поднимать, чтобы дом не сразу взлетел на воздух? Учти, и ты, старая, взлетишь. Отвечай, отвечай, я тебя от себя никуда не отпущу.

— Не подпускал он меня сюда, говорю.

— А когда уходили час-два назад, ты где была?

— Где? — Старуха задумалась. — Я своей смертью хочу умереть, вот что я тебе скажу, безрукий начальник.

— Своей не выйдет, если я в подвал не так войду. Отвечай!

— Да не знаю я! Не знаю я! — завопила старуха. — Он свет всегда отключал, когда туда шел.

— Так! Петя! Выруби свет! Вон щиток, у входа в коридор.

— Есть вырубить свет! — Петя Брагин подскочил к щитку, и свет в коридоре померк.

— С зажигалками ко мне! — приказал старшой. Зашелкали зажигалки, свечечками вспыхнув в темноте.

— Поднимаю ковер, старая, — сказал старшой. — Подсказок больше не будет? Смотри, вместе взлетим!

— Там люк будет, а потом лестница в подвал, — сказала старуха. — Больше ничего не знаю.

— Вместе спустимся, рискну твоей драгоценной жизнью. А всем остальным вон отсюда! Прошу, барышня, прошу. Уединимся! Петя, дай мне свою зажигалочку.

— Вместе пойдем, — сказал Брагин, отбирая горящие зажигалки у парней. Сомкнутые в ладони, они стали зажженным подсвечником, но странно коротким, будто это сама рука у Пети зажглась.

— Всем остальным на воздух! — приказал старшой. — И подальше от дома! За калитку даже! Выполнять!

И вот они за калиткой, в тихом, все еще спящем

переулочке, и кто-то даже затворил калитку, в общий ряд включив дом Какабая с едва видной крышей за высоким дувалом. Покой и сон и в этом доме, с едва видной крышей, как и в остальных домах и домишках переулочка, как и должно быть в столь ранний час, да еще и воскресный день сегодня. Досматривают свои воскресные сны жители города, мирные сны, хотя вообще-то война идет неподалеку, но это там, по ту сторону границы, где-то за Кушкой, где-то в Афганистане. А здесь, рядом, правда, совсем рядом, меньше чем в тридцати километрах от Ашхабада, граница с Ираном, но это мирная граница, и если что, прочно защищенная граница, так что здесь мир, покой, воскресный, особенно крепкий уют, сон.

Но горстка военного вида людей у калитки одного из домов в тихом переулочке, но эти люди, будто изготовившиеся к бою, — они-то почему здесь? И эта машина, военный вездеход, зачем здесь? И вот и еще одна машина подкатила, тоже защитного цвета вездеход. И из машины этой выскочили тоже военные, в четко различимой милицмейской форме. Что случилось в тихом и сонном и столь мирном переулочке? Но спит переулочек, эти тревожные вопросы задавать некому. И город спит, досматривают ашхабадцы свои воскресные сны. Не жарко теперь в городе, ушла гнетущая летняя жара, хорошо теперь в этом городе, где длиться будет милосердное лето месяцы и месяцы, до самой лютоты — где-то там! — по календарю зимы. А здесь будет тепло, но не жарко, и плоды будут на деревьях сохраняться до декабря, и виноградные гроздья будут висеть на шпалерах в садах до нового года, и благоухать будут городские базары дынями и арбузами, шашлычными жаровнями и горячей лепешкой из тамдыра. Не рай ли на земле? Рай, он самый.

А эти военные, странно напряженные, будто взведенные курки, может, они собрались тут для киносьемки? Ну, снимает ашхабадская киностудия очередную картину про басмачей или там про то, как не здесь, конечно же, а там, там, за кордоном, сражаются наши парни с душманами. И сейчас подкатит сюда киностудийский автобус с аппаратурой, высыпают в переулочек забавные, пестро разодетые киношники, засверкают осветительные аппараты, возникнет важный человек — режиссер, особенно причудливо одетый, в какой-нибудь обязательно жокейской шапочке, а потом выскочит перед аппаратом девица с хлопущей, ну, этой штуковинкой, где ведется учет снятых кадров, хлопнет ею, объявляя номер кадра, зажурчит сразу же затем съемочная камера, и начнется кино, тревожное, яростное, военное кино. Но — кино, кино, а не какой-то там из жизни факт, что-то из жизни страшное. Можно спать досыпать спокойно. Киношники — вот народ! — обязательно им нужно спозаранку начинать снимать свои милые вымыслы, свои нестрашные убийства, захваты и взрывы, где действуют каскадеры.

Прибывшие на машине милиционеры, возглавляемые пожилым туркменом в штатском и молодым, напористым, пружинистым — он мигом себя таким оказал, выпрыгнув из машины на ходу, — капитаном, присоединились к десантникам, Знаменскому и Мереду, но эти две группы не смешались. Сразу определилось, что это отчетливо две разные группы и что прибывшие владеют инициативой и правом командовать, поскольку они здесь у себя дома. Капитан и начал распоряжаться:

— Всем оставаться на своих местах! А мы с прокурором поглядим, что там за труп за такой! Прошу, Чары Махтумович!

— В дом нельзя, — сказал Знаменский. — Там, похоже, сейчас идет разминирование.

— Что еще за разминирование? Кто вы такой? — Капитан с явным недоверием оглядел Знаменского, прочитал его, этого во всем заграничном москвича, совершенно не внушающего доверия, если иметь в виду то дело, которым сейчас предстояло заняться в этом доме капитану.

— Это референт из Москвы! — подоспел на помощь Знаменскому Меред Джумаев. — Здравствуй, Коля, товарищ капитан.

— Я вам не Коля на службе, товарищ Джумаев. Что еще за референт?

Знаменский вспомнил, что у него есть удостоверение, достал поспешно новенькую синюю книжечку, предъявил ее капитану.

Тот повертел удостоверение, вчитался, снова повертел, даже понюхал, а от корочек наверняка пахло еще клеем, хмыкнул и передал удостоверение Знаменскому пожилому туркмену. Но тот удостоверение разглядывать не стал, а сразу же вернул его Знаменскому, сказав:

— Я знаю товарища Знаменского. Это друг Ашира Атаева. Здравствуйте, товарищ Знамен-

«ПРОБЛЕМА-ДЕФИЦИТ ДОВЕРИЯ»

Начало см. на стр. 4

ский. Вернулись? Дело нашего Ашира не дает покоя? Спасибо вам, что вы не забыли нашего Ашира. Товарищ капитан, это же Знаменский, — чуть укоряя, но мягко звучал в мягко звучащем русском языке прокурора его укор, — это же тот самый Знаменский, которого ударили ножом, когда Ашир Атаевич был убит. То, стало быть, дело...

— Помню, помню. А что за труп? И чего мы тут топчемся? — Капитан был молод, был энергичен и мужествен, и он был в высоком звании, если учесть, что молчаливые парни в гимнастерках без погон если и имели недавно военные звания, то явно солдатские, сержантские, ибо такие у них были именно солдатские выцветшие гимнастерки. Одно только несколько смущало капитана: у бывших этих солдат на гимнастерках были боевые ордена, боевые медали, парашютные значки, подтверждавшие сто и более прыжков. У одного он даже углядел большую зелено-синю-красную звезду афганского ордена.

— Афганский? — спросил он, подойдя к десаннику, не сумев удержаться, и дотронулся пальцем до ордена, странно большого, если сравнивать с нашими.

Обладатель ордена ничего не ответил капитану, повел плечом, отстраняясь.

— Ну, пошли в дом, Чары Махтумович, — сказал капитан, невольно скосив глаза на свою молодую раздатую грудь. Да, тут он уступал, на развернутой его груди всего лишь колодочка о две медали красовалась, и медали это были не ратные, а юбилейные. — Пошли, пошли! — заторопился капитан, готовый к деятельности, а надо, так и к подвигу.

— Дом сейчас проверяет старшóй, — сказал один из десантников. — Сказано ведь, нельзя сейчас туда.

— Что еще за старшóй? — насторожился капитан. — Это что за звание?

— Их командир, — шепнул ему Мереди. — Герой, кажется, за Афганистан, но не носит. Нет одной руки. Там потерял. Слушай, Коля, ты не горячись.

— Ну, дела! Безрукие герои! Ну, Москва! Прислала помощь!

— Не горячись, не горячись, Коля, — шептал Мереди, опасливо поглядывая на десантников, сурово примолкших.

— Я вам не Коля, товарищ Джумаев! Сколько можно говорить? Ладно, подождем немного. Подождем, Чары Махтумович?

— Обязательно подождем, товарищ капитан. — Вы распорядились, чтобы все рейсы в аэропорту были задержаны? — спросил капитана Знаменский.

— Мы свою службу знаем, товарищ Знаменский. Помню, помню. Так вы теперь, что же, оперативником работаете? Переквалифицировались из дипломатов?

— Волшебником я работаю, — сказал Знаменский и отошел от энергичного и шибко говорливого капитана, примкнул к молчаливым, напряженным десанникам. Они-то знали, что сейчас происходит в доме, догадывались хотя бы, и они знали, как сейчас рискует их старшóй. И молчали, взведенными застыв курками.

Но вот скрипнула калитка, отворилась, и в проеме ее возникла бабой-ягой старуха в черном мужском халате до пят и в черной тюбетейке поверх седых косм.

— Старшóй тебя зовет, — сказала она, сохлым пальцем указав на Знаменского.

— Пошли! — кинулся к калитке капитан. Но старуха преградила ему путь.

— Не тебя зовет старшóй, его зовет. — Она ткнула пальцем в Знаменского. — Ты не лезь, капитан, поперек старшóму, он старшóй у них.

— Что еще за звание?! — вознегодовал капитан, но и насторожился. — Полковник? Так он в Москве остался. Мы получили телефонограмму, что прибывает старший лейтенант Петр Брагин. Между прочим, я капитан.

— Ничего не знаю, — сказала старуха. — Старшóй велел звать этого.

— Товарищ капитан, Николай Семенович, — сказал туркмен-прокурор, мягко и миролюбиво говоря по-русски, — подчинимся обстоятельствам. Им виднее. Они же сами нас вызвали. Подождем. Идите, товарищ Знаменский.

— А я? — шагнул вперед Мереди.

— Одного его позвал, — сказала старуха, преграждая путь Мереду. Ей нравилось быть исполнительницей воли старшóго, завоевал он ее там, в подвале. Знаменскому, когда он вошел в калитку, старуха даже поклонилась, поскольку этого красавца выделил из всех сам старшóй.

Окончание следует.

рия, без которого улучшение отношений будет невозможным.

— А кто, по вашему мнению, выступает против расширения культурных связей?

— В основном огромное большинство американцев выступают за расширение культурных обменов. Это большинство включает и нашего президента, который часто выступает на тему, как создать основу лучшего общения наших граждан. Он в это твердо верит.

Знаю, что были единичные инциденты во время гастролей советских артистов. Лично я отношусь к этому резко отрицательно, потому что считаю, что нельзя пользоваться культурными связями для достижения политических целей. Большая часть наших людей того же мнения. Но люди, которые создают такие инциденты, — это небольшие группы, — делают это не потому, что они против культурных обменов как таковых, но потому, что они таким образом протестуют против чего-то другого. Таким путем они пытаются привлечь внимание общественности к волнующим их проблемам. Такие явления бывают не только в наших отношениях; демонстрации бывают и в нашей внутренней жизни. У нас проводится множество демонстраций по самым разным поводам. Мы считаем, что каждый гражданин (или даже иностранец, живущий у нас) имеет право протестовать или демонстрировать как хочет, если только демонстрации мирные и не угрожают людям.

— Вы Советский Союз знаете? Вы много путешествовали по Советскому Союзу?

— Да. Я посетил все союзные республики, кроме Киргизии.

— У вас есть любимое место, любимые города?

— Каждый город имеет свои особенности, свою прелесть и привлекательность. Я не хотел бы выделять какой-то один город и сказать, что это мой любимый. Я знаю Москву лучше других городов, так как здесь долго жил. Часто бывал в Ленинграде и в Киеве, и неоднократно посещал Закавказье: Баку, Тбилиси, Ереван. Менее знаю Центральную Азию и Сибирь.

— Значит, у вас нет любимых мест в Советском Союзе?

— Есть, но их много. Исторические и литературные памятники в Москве и в городах «Золотого кольца». Грандиозные архитектурные ансамбли Ленинграда, его музеи. Зеленые парки и древние памятники Киева. Живописные, оживленные города Закавказья. Величественная горная цепь Кавказа. Так как я интересуюсь литературой, места, связанные с литературой, мне близки: Ясная Поляна, квартира Достоевского, дом-музей Чехова. Но не только места, связанные с русской литературой. Мне знакомы и некоторые писатели нерусских литератур. Читал, например, на украинском Шевченко, Коцюбинского и иных украинских писателей, а также труды представителей других народов Советского Союза в переводе.

— Что вас заинтересовало из последних произведений советской литературы? Какие книги вам запомнились, проза, поэзия, какие-то спектакли?

— В настоящее время я читаю «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова. Последняя пьеса, которую я видел, это «Спортивные сцены 1981 года» Эдварда Радзинского, и меня также интересуют пьесы Розова, Гельмана, Рождина и Шатрова — я называю только некоторых. Что касается поэзии, я бы назвал стихи Вознесенского, Ахмадулиной, Солоухина — список, конечно, неисчерпывающий. Со времени моего приезда в апреле у меня меньше времени для чтения беллетристики, чем мне бы хотелось.

— Вы ведь были на вечере Вознесенского...

— Да, я там был и также присутствовал, когда он читал свои стихи в прошлом году в Вашингтоне. Я сам перевел некоторые из его стихов. Я, конечно, переводчик-любитель, а не профессионал, но, когда я отдыхаю, часто стараюсь переводить с русского на английский. Сам по себе перевод стихотворения — это очень интересный процесс. Трудно сделать по-настоящему адекватный перевод, но сам процесс перевода помогает понять сущность стихотворения. Перевод слож-

ной прозы также представляет поучительную задачу. Прозу Лескова, например, чрезвычайно трудно перевести на другие языки, потому что она так тесно связана с русским бытом, со спецификой русской жизни XIX века. Но попытка воспроизвести на другом языке всю совокупность авторского замысла очень помогает понять саму суть творчества писателя.

— Что вы делаете в свободное время?

— Когда оно есть — а, как вы догадываетесь, это бывает редко, — мы с женой любим ходить в театр, занимаемся фотографией, и, как я уже сказал, время от времени я перевожу или просто изучаю другие языки. Иногда, например, стараюсь читать на украинском или грузинском языках. Играю в теннис, но редко и плохо. Кроме того, меня увлекают птицы — я орнитолог-любитель.

— Что вам особенно нравится в советских людях и что не нравится? Нам, например, нравится в американцах трудолюбие. Но американцы, кажется, уделяют меньше внимания культуре...

— Мне нравится, что советские люди по натуре очень открытые, а мы, американцы, хорошо воспринимаем открытость. То, что можно общаться без церемоний, — это для нас очень важно. Надо сказать, что во многом советские люди и американцы похожи, если мы не отгораживаемся друг от друга из-за необоснованной подозрительности. А, между прочим, я не согласен, когда говорят, что американцы по натуре более трудолюбивы, чем советские граждане. Когда поощрения существуют, ваши работают наравне с людьми какой угодно страны. Дело, видимо, в поощрениях, а не в гражданской принадлежности.

— А негативные стороны?

— Лучше говорить о позитивных, но если настаиваете, я бы сказал, что соприкосновение с вашими бюрократами не приносит большой радости. Не то, что наши бюрократы намного лучше, но у нас их меньше и их сфера воздействия на нашу жизнь ограничена.

— Вы связали свою жизнь с Россией, с Советским Союзом. Не жалеете?

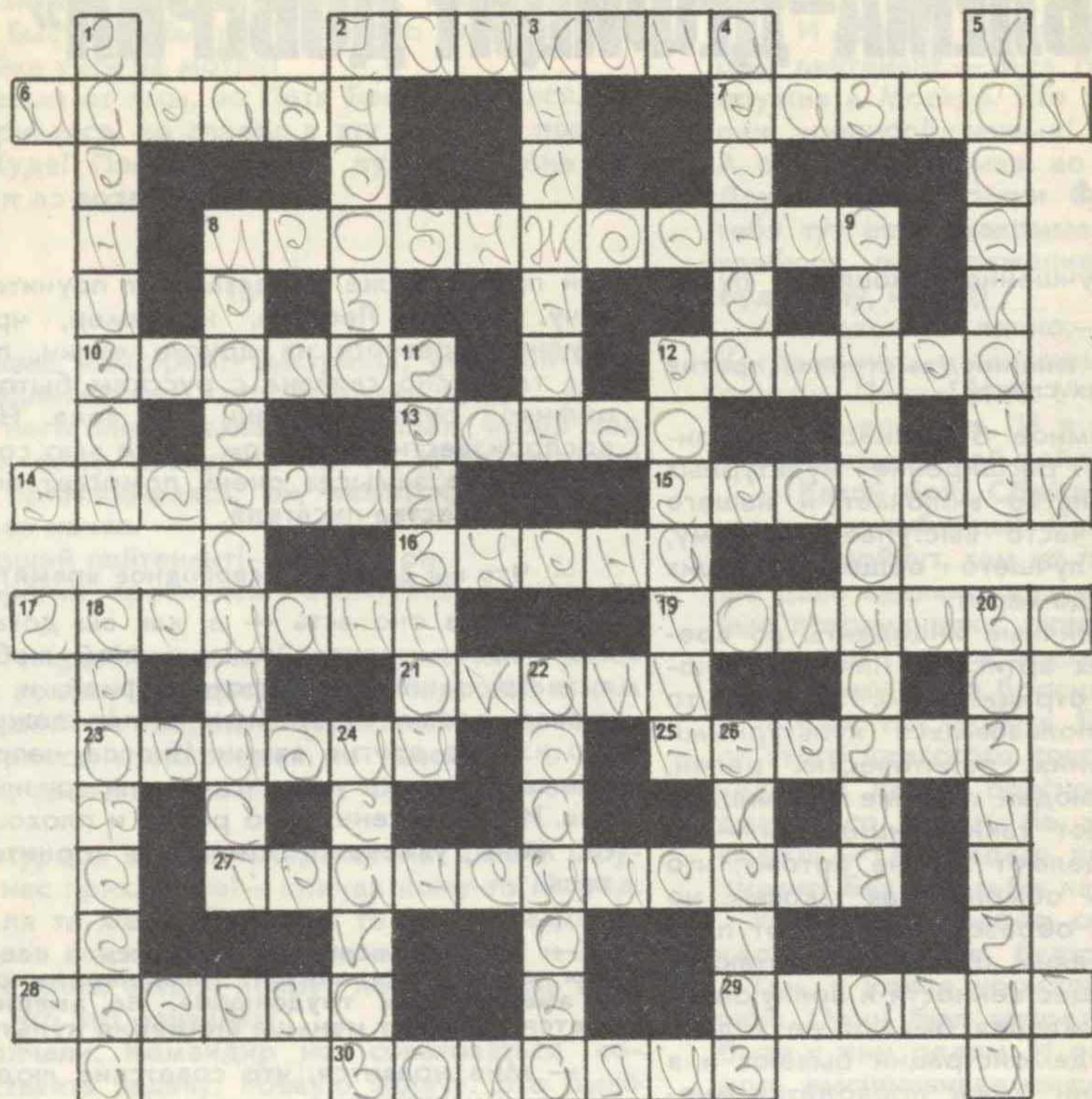
— Нет, совсем не жалею.

— Однако есть люди, которые работают в Советском Союзе, а им это не нравится. Работа есть работа. Но вы считаете, что ваша деятельность соответствует тому, что вам нравится?

— Да, безусловно. Есть люди, которые всегда недовольны, где бы они ни были. Есть и другие, которые хотят жить и работать только на родном месте. Что касается меня, я очень люблю свою страну, ее традиции, культуру, ценности. Но меня глубоко интересуют другие культуры, особенно русская, и я считаю себя счастливым человеком, потому что имею возможность жить в вашей среде, общаться с вашими людьми, впитывать в себя вашу культуру. Это мне помогает лучше представлять мою страну у вас и лучше объяснять нашим, что происходит в Советском Союзе.

— Если бы вы были всемогущи, что бы вы сделали сейчас? Что бы вы сделали для счастья людей?

— Это действительно не вопрос для скромного человека! В основном я твердо верю, что смертные не должны действовать так, как будто они всеведущи и могут знать, что хорошо для всего человечества. Такая иллюзия весьма опасна, и никто это не отобразил более сильно и убедительно, чем Достоевский в своих «Братьях Карамазовых». Я имею в виду Легенду о великом Инквизиторе. (Видите, мы начали с Достоевского, и, кажется, мы им и заканчиваем!). Итак, я бы ответил на ваш вопрос следующим образом: если бы я мог, я убедил бы всех, что нельзя претендовать на умение или право заставлять других жить по каким-то определенным канонам. То есть каждый взрослый человек должен иметь право решать свою судьбу, если только он не ущемляет аналогичного права других. Может быть, не все были бы счастливыми и при таких условиях, но я уверен, что такой подход спас бы общество от многих бедствий.



По горизонтали: 2. Партизанка-комсомолка, Герой Советского Союза. 6. Птица семейства аистов, обитающая в Африке, Юго-Восточной Азии. 7. Драма на тему революции Б. А. Лавренева. 8. Стихотворение А. С. Пушкина. 10. Специалист, изучающий животный мир. 12. Спортивное оружие. 13. Стихотворная форма. 14. Советская мощная универсальная ракета-носитель. 15. Фантастическое, уродливо-комическое изображение в искусстве. 16. Восточный духовой музыкальный инструмент. 17. Персонаж повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». 19. Горючие вещества. 21. Животное семейства жирафов. 23. Римский поэт. 25. Опера композитора А. Магомаева. 27. Система передач в тракторах, автомобилях. 28. Режущий инструмент. 29. Медная руда, сырье для красок. 30. Пение, упражнение для голоса без текста.

По вертикали: 1. Военная часть, расположенная в определенном населенном пункте. 2. Город в Новгородской области. 3. Русский драматург, поэт XVIII века. 4. Сахарная пальма. 5. Тригонометрическая функция. 8. Специалист по составлению алгоритмов для вычислительной машины. 9. Область востоковедения. 11. Действующее лицо оперы «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова. 12. Город в Ивано-Франковской области. 18. Народная артистка СССР, певица Молдавского театра оперы и балета. 20. Северное созвездие. 22. Народная художница Туркмении. 24. Адмирал Флота Советского Союза. 26. Высшая степень воодушевления, восторга.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 36

По горизонтали: 7. Бионика. 9. Теорема. 10. Нефтепровод. 11. Свод. 13. Окас. 15. Багратион. 17. Широта. 19. Консул. 20. Сливки. 22. Окуров. 25. Остроумов. 26. Майн. 29. Аман. 31. Октябрьский. 32. Серебро. 33. Испания.

По вертикали: 1. Минов. 2. Ананд. 3. Каттегат. 4. Стропило. 5. Кредо. 6. Шмыга. 8. Каптаж. 12. Ольшевский. 14. Коллоквиум. 15. «Бородино». 16. Нестеров. 18. Айни. 19. Кино. 21. Котляков. 23. Комиссия. 24. Бобров. 27. Анкер. 28. Номер. 29. Айван. 30. Актив.

СКОРО В ОГОНЬКЕ.



«МЕГРЭ И ЕГО МЕРТВЕЦ»

«...Мегрэ услышал взволнованный голос:

— Алло... это вы?

— Да, я комиссар Мегрэ.

— Простите... Мне надо рассказать вам все как можно быстрее... со вчерашнего вечера меня преследуют несколько человек... они явно хотят меня убить...»

Вот так энергично Жорж Сименон вводит своих читателей в круг героев романа «Мегрэ и его мертвец», который мы начинаем печатать в № 39. Всемирно известный мастер детективного жанра рассказывает о том, как его не менее известному герою комиссару Мегрэ удастся разоблачить и ликвидировать банду убийц.

НЕТ ПРОБЛЕМ?

Рисунок Виктора СКРЫЛЕВА



ЗАДЕРЖИТЕСЬ У ЗЕРКАЛА



Фото Игоря ФЛИСА

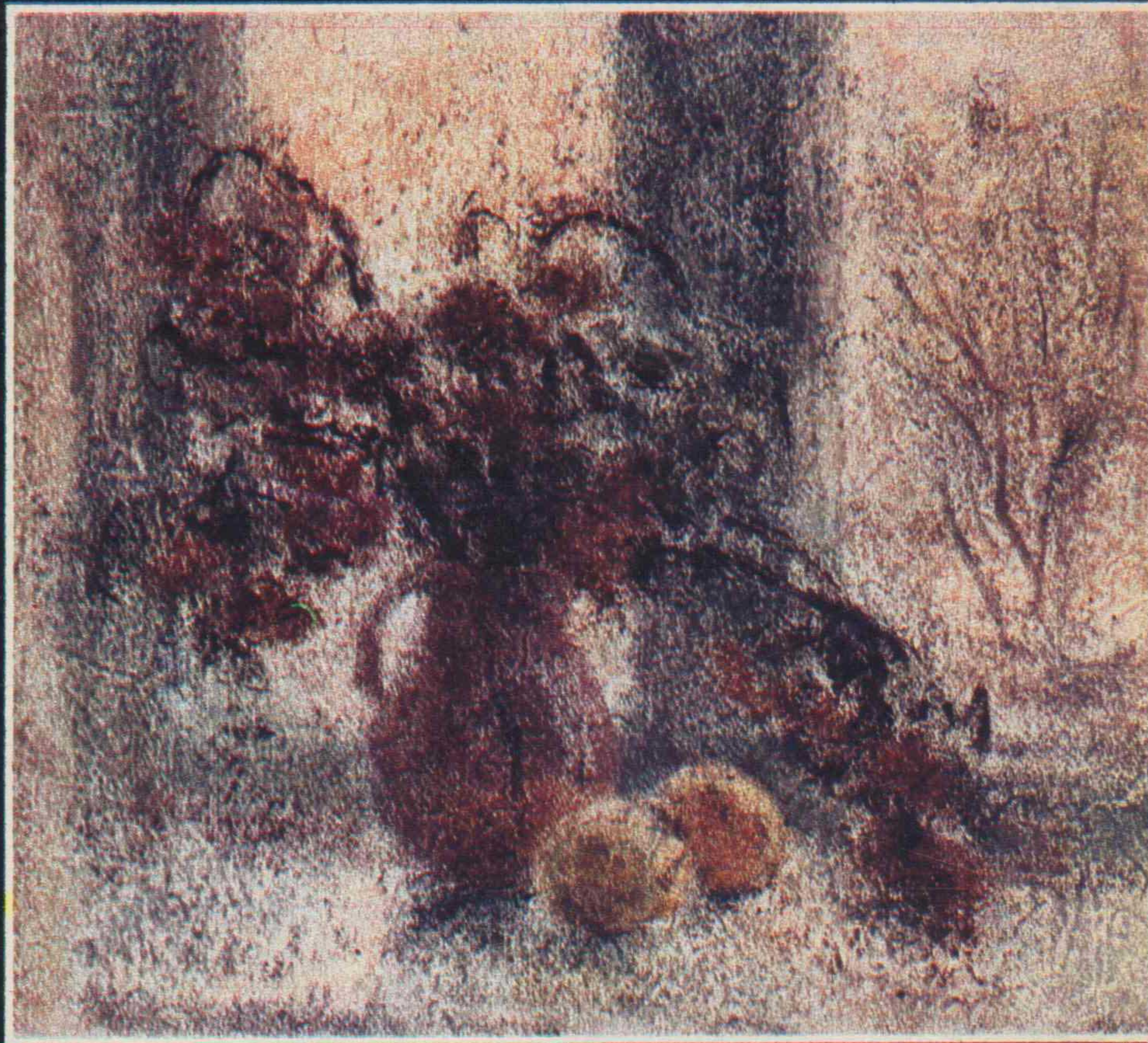
О том, как стать красивой, думают все женщины. Даже самые красивые. Случается, всю жизнь ищут свой стиль, поражая окружающих многообразием облика — задумчивым, лиричным, задорным, загадочным. Да мало ли...

Внешность — зеркало характера. Судя по тому, что женщины становятся все краше, можно заключить, насколько прекрасны их сердца. А сделать внешний облик ярким и выразительным женщинам помогают виртуозы-парикмахеры. Именно таких мастеров готовит московское СПТУ № 95, которое недавно провело конкурс на звание «Лучший по профессии».



Когда смотришь работы Софьи Халецкой, невольно удивляешься: акварель, тушь! На монотипию совсем непохоже. Во всяком случае, многие из тех, кто видел ее листы, поразились необычностью, нетрадиционностью подхода к этому виду графики. [См. в номере материал «День, увиденный в окно».]

ОГОНЁК



- АВТОПОРТРЕТ. 1983.
- ЗИМНЕЕ УТРО. РЯБИНА. 1974.
- ПОД ЗВЕНИГОРОДОМ. 1983.
- НЕЗНАКОМКА БЛОКА. 1982.

